SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- Евгений Андреевич Соловьев
  -
  - Глава I
  - Глава II
  - Глава III
  - Глава IV
  - Глава V
  - Глава VI
  - Глава VII
  - Глава VIII
  - Заключение
  - Источники и пособия
- notes
  - 1
  - 2

Евгений Андреевич Соловьев Карамзин. Его жизнь и научно-литературная деятельность

Биографический очерк Е. Соловьева

С портретом Н. М. Карамзина, гравированным в Петербурге К. Адтом

Глава I

Детство. – Отрочество. – Юность

Николай Михайлович Карамзин родился 1 декабря 1766 года в одном из поместий своего отца, Михаила Егоровича. Род Карамзиных – старинный дворянский, ведет свое происхождение от татарского выходца Кара-Мурзы, который при царях (когда, в точности неизвестно) поступил на службу Москвы, принял крещение и получил земли в Нижегородской губернии вместе с дворянским званием. Отец Карамзина, отставной капитан армии, обладал характером простым и добрым и отличался старорусским гостеприимством и обязательностью. Женат он был два раза и всю свою жизнь провел в полном помещичьем довольстве. Николай Михайлович родился от первой его жены – Екатерины Михайловны, урожденной Пазухиной, скончавшейся скоро – хотя опять-таки неизвестно когда – после появления на свет своего сына. Гораздо позже, в 1793 году, Карамзин в «Послании женщинам» уделил несколько по обыкновению чувствительных строк своей матери, где говорит между прочим:

Ах! Я не знал тебя!.. Ты, дав мне жизнь, сокрылась
Среди весенних, ясных дней,
В жилище мрака преселилась!..
Я в первый жизни час наказан был судьбой.

Стихотворение заканчивается любопытным признанием:

Твой тихий нрав остался мне в наследство,

– признанием, как увидим ниже, совершенно справедливым.

Детство свое Карамзин провел на берегу реки Волги, и картины природы Поволжья оставили в его душе сильное, неизгладимое впечатление. В юности он не раз воспевал на своей «слабой лире» те места, где, говорит он:

Я природу полюбил,
Ей первенца души и сердца
Слезу, улыбку посвятил,
И рос в веселии невинном,

Как юный мирт в лесу пустынном!..

Каким путем научился он читать и писать – мы хорошенько не знаем. По-видимому, обязанности первого наставника исполнял дьякон местной церкви, с которым Карамзин, по обычаю того времени, прочел сначала Часослов, а затем перешел к гражданскому шрифту, не представившему особенных затруднений благодаря редким, блестящим способностям ребенка. Немного позже приставили к нему еще и немца-гувернера, предобродушнейшее, хотя и недалекое существо.

К чтению и одиночеству Карамзин, несмотря на то, что у него было три брата: Василий, Федор и Александр, – пристрастился очень рано. Читал он все, что попадало под руку и что можно было найти в книжном шкафе. «Дон-Кихота» он узнал еще в детстве, сильное впечатление произвели на него и другие романы и повести, из которых впоследствии не без улыбки вспоминал он о «Даире», восточной повести, «Селиме и Дамассине», повести *африканской,* «Похождениях Мирамонда» и прочее. Попадались ему в руки и исторические сочинения, причем особенно увлекался он Сципионом Африканским и, разумеется, сам себя воображал героем.

Воображения – той силы, которая неотразимо влечет человека на поприще писателя, художника, артиста, – было очень много уделено Карамзину от природы. Усиленное, хотя и беспорядочное чтение, разумеется, должно было развивать ту же способность. Карамзин читал запоем, затаив дыхание, забывая решительно обо всем. Забравшись куда-нибудь в глушь сада, на берег Волги, он просиживал за книгами целыми днями, забывая о завтраке и обеде, и только сильный дождь или гроза заставляли его опомниться и прийти в себя. В романах ему открылся новый свет. «Я, – говорит он, – увидел, как в магическом фонаре, множество разнообразных людей на сцене, множество чудных действий, приключений – игру судьбы, дотоле мне совсем неизвестную… (но какое-то предчувствие говорило мне: ах! и ты некогда будешь ее жертвою! и тебя охватит, унесет сей вихорь… куда? куда?..) Сие чтение не только не повредило моей юной душе, но было еще весьма полезно для образования внутреннего чувства. В „Даире“, „Мирамонде“, в „Селиме и Дамассине“ (знает ли их читатель?), одним словом, во всех романах… герои и героини, несмотря на многочисленные искушения рока, остаются добродетельными, все злодеи описываются самыми черными красками, первые наконец торжествуют, последние, как прах, исчезают. В нежной моей душе неприметным образом, но

буквами неизгладимыми, начерталось следствие: итак, любезность и добродетель одно! итак, зло безобразно и гнусно! итак, добродетельный всегда побеждает, а злодей гибнет!» Порою, оставляя книгу, Карамзин смотрел на «синее пространство Волги», на «белые паруса судов и лодок», на «станицы рыболовов, которые из-под облаков дерзко опускаются в пену волн и в то же мгновение снова парят в воздухе». Он полюбил природу, как книги, за то, что ее виды и картины уносили его в царство грез; грезы же постепенно сделались все более и более необходимым элементом его бытия. На десятом году от рождения он мог уже «часа по два играть воображением и строить замки на воздухе». Опасности и героическая дружба были любимою мечтою мальчика, причем, разумеется, он всегда воображал себя избавителем какой-нибудь фантастической Дульцинеи. Он «мысленно летел во мрак ночи на крик путешественника, умерщвленного разбойниками, или брал штурмом высокую башню, где страдал в цепях друг его…» Сверх того он любил грустить, не зная о чем. «Голубые глаза его сияли сквозь какой-то флер, – прозрачную завесу чувствительности. Печальное сиротство еще усилило это природное расположение в грусть». «Ах! – восклицает Карамзин, заканчивая картину своего детства – самый лучший родитель не может заменить матери, добрейшего существа в мире! Одна женская любовь, всегда внимательная и ласковая, удовлетворяет сердцу во всех отношениях!..»

Между прочим, однажды во время чтения в лесу с ним случилось характерное приключение, которое он сам описал, изобразив себя под именем Леона: «Гроза усиливалась: мальчик любовался блеском молнии и шел тихо, без всякого страха. Вдруг из густого леса выбежал медведь и прямо бросился на Леона. Дядька не мог даже и закричать от ужаса. Двадцать шагов отделяют нашего маленького друга от неизбежной смерти; он задумался и не видит опасности: еще секунда, две – и несчастный будет жертвою яростного зверя. Грянул страшный гром… какого Леон никогда не слыхивал; казалось, что небо над ним обрушилось и что молния обвилась вокруг головы его. Он закрыл глаза, упал на колени и только мог сказать: „Господи!“ Через полминуты взглянул – и видит пред собою убитого громом медведя. Дядька насилу мог образумиться и сказать ему, каким чудесным образом Бог спас его».

«Этот удар грома, – добавляет Карамзин, – был основанием моей религии». Но, разумеется, кроме книг и «синего пространства Волги», на ребенка влияла и домашняя его обстановка. К его отцу, хлебосольному, гостеприимному

помещику, то и дело наезжали гости, соседи. Маленький Карамзин любил встречать их и, завидев у крыльца повозки или брички, «с великим удовольствием» бежал в кабинет к отцу, крича по дороге: «Батюшка, едут гости!» – на что отец неизменно отвечал: «Добро пожаловать!» «Провинциалы наши, – вспоминает Карамзин, – не могли наговориться друг с другом; не знали, что за зверь политика и литература, а рассуждали, спорили и шумели. Деревенское хозяйство, известные тяжбы в губернии, анекдоты старины служили богатым материалом для рассказов и примечаний». «Как теперь, смотрю на тебя, – читаем мы дальше, – заслуженный майор Фадей Громилов, в черном большом парике, зимою и летом в малиновом бархатном камзоле, с кортиком на бедре и в желтых татарских сапогах; слышу, слышу, как ты, не привыкнув ходить на цыпках в комнатах знатных господ, стучишь ногами еще за две горницы и подаешь о себе весть издали громким своим голосом, которому некогда рота ландмилиции повиновалась и который в ярких звуках своих нередко ужасал дурных воевод провинции! Вижу и тебя, седовласый ротмистр Бурилов, простреленный насквозь башкирскою стрелою в степях уфимских; слабый ногами, но твердый душою; ходивший на клюках, но сильно махавший ими, когда надлежало тебе представить живо или удар твоего эскадрона, или омерзение свое к бесчестному делу какого-нибудь недостойного дворянина нашего уезда. Гляжу и на важную осанку твою, бывший воеводский товарищ Прямодушин, и на орлиный нос твой, за который не мог водить тебя секретарь провинции, ибо совесть умнее крючкотворства; вижу, как ты, рассказывая о Бироне и тайной Канцелярии, опираешься на длинную трость с серебряным набалдашником, которую подарил тебе фельдмаршал Миних».

Препровождение времени, как видно, было незатейливое. К разговорам надо прибавить обед и закуски, тянувшиеся часами, обильное возлияние и некоторое фрондирование, не заходившее, впрочем, за пределы губернии и не обращавшееся ни на кого выше исправника или, в крайнем случае, губернатора. В воспоминании об этом фрондировании мелкопоместных дворян у нас сохранился интересный документ, скрепленный подписью всех друзей-провинциалов Карамзина-старшего, Громилова, Бурилова, Прямодушина и проч. Документ, названный договором братского общества, гласит: «Мы, нижеподписавшиеся, клянемся честию благородных людей жить и умереть братьями, стоять друг за друга горою во всяком случае, *не жалеть ни трудов, ни денег для услуг взаимных,* поступать всегда единодушно, *наблюдать общую пользу дворянства,* вступаться за притесненных и помнить русскую пословицу: «тот дворянин, кто за многих один»; не

бояться ни знатных, ни сильных, а только Бога и государя; *смело говорить правду губернаторам и воеводам,* никогда не быть их прихлебателями и не такать[1] против совести. А кто из нас не сдержит своей клятвы, тому будет стыдно и того выключить из братского общества».

Когда в доме бывали гости, Карамзин постоянно вертелся между ними. Его любили и ласкали. По его собственным словам, «он вкрадывался в любовь каким-то приветливым видом, какими-то умильными взорами, каким-то мягким звуком голоса, который приятно отзывался в сердце…» Приветливый, несколько грустный мальчик любил карабкаться на колена отставных воинов, слушать их громкие речи, набивать им трубки, подавать угольки или трут. Но особенно ему нравились бесчисленные и бесчисленно много раз повторявшиеся рассказы о победах Миниха, о подвигах русского войска и другие им подобные воспоминания ветеранов.

До мирного кружка, собиравшегося в барском доме глухого поместья Оренбургской губернии, редко долетали слухи о петербургских событиях, а если и долетали, то не возбуждали особенного интереса. Вся их политическая гордость сосредоточилась на том, чтобы смело говорить правду губернаторам и воеводам и наблюдать общую пользу дворянскую. О большем они не мечтали, да и трудно было мечтать им, хорошо еще помнившим все ужасы бироновского владычества и «пременность» судьбы, посылавшей в вечную ссылку то Миниха, то Бирона. Впрочем, кое-что доносилось из столицы и к ним, в глушь оренбургских степей. С удовольствием приняли они указ о вольности дворянской и порадовались за детей своих, которые таким образом освободились уже от обязательной государственной службы, подчас тяжкой, а для бедного барина всегда неприятной. Они струхнули, когда распространился слух о том, что за вольностью дворянской последует крестьянская; но слух оказался ложным, и они вздохнули с облегчением. Указ императрицы против взяточничества произвел на них впечатление тем более, что у каждого из них имелись тяжбы с родственниками или соседями, и приказные козявки высасывали из них последние соки. С недоумением присутствовали они на выборах в комиссии уложения, но потом, сообразив, в чем дело, строго-настрого заказали своему депутату блюсти интересы дворянские. За заседаниями комиссии они не следили, уповая на «благорасположение Матушки государыни» к дворянскому сословию. От вечных воспоминаний серьезно отвлекли их лишь пушечные залпы в Крыму, громкие победы Румянцева приводили их в восторг, и с гордостью рассуждали они о непобедимости российского воинства…

Вот что видел и слышал вокруг себя в детстве маленький Карамзин, воскликнувший впоследствии со своим обычным риторическим пафосом: «Родина, Апрель жизни, первые цветки весны любезной! Как вы милы всякому, кто рожден с любезной склонностью к меланхолии!»

***

В детстве Карамзин часто бывал в Симбирске и даже учился там в пансионе немца Фавеля, но чему и как – неизвестно. Здесь же произошел первый его роман с помещицей Пушкиной, кончившийся впрочем не особенно трагически: влюбленному 12-летнему мальчику возлюбленная помещица надрала уши.

13-ти и 14-ти лет Карамзин отправился в Москву, где и поступил в университетский пансион Шадена. Личность этого педагога заслуживает полного нашего внимания. По свидетельству Фонвизина, «сей ученый муж, т. е. Шаден, имеет отменное дарование преподавать лекции и изъяснять так внятно, что успехи наши уже были очевидны». Шаден был немец, родом из Пресбурга. Прослушав курс философии в Тюбингене, он был вызван в Москву и получил в недавно основанном тогда университете сразу четыре кафедры: нравоучения, права естественного и народного и политики. Приехав в Россию и заняв место директора университетской гимназии, Шаден сообразил, что университет сам по себе может принести очень мало пользы. Необходимо было, по его мнению, учредить средние и низшие школы и частные пансионы. Поэтому на торжественном акте 1751 года, в присутствии двора, он произнес речь о заведении гимназий в России, а вскоре сам, примера ради, открыл пансион по образцу германских.

В пансионе было обращено особенное внимание на изучение языков, и Карамзин, прилежно занявшись ими, вскоре сделал значительные успехи, чем обратил на себя особенное внимание Шадена. Тот стал водить его с собою к знакомым иностранцам, чтобы доставить своему любимцу случай поупражняться по-французски или по-немецки, давал ему читать хорошие книги и, кажется, предвидел уже в нем будущего литератора. Вскоре Карамзин стал посещать университетские классы, где, по его собственному признанию, все учились если не наукам, то *русской грамоте.*

Так прошло четыре года. По понятиям того времени продолжать занятия науками далее 17–18 лет было так же зазорно для юноши, как для девушки не выйти замуж к этому сроку. Надо было думать о карьере, и Карамзин, пользуясь протекцией отца, записался подпрапорщиком в Преображенский гвардейский полк. Служба требовала его присутствия в

Петербурге; он отправился туда и первым делом познакомился со своим родственником по матери и будущим известным писателем Дмитриевым. Вот что рассказывает последний о встрече с Карамзиным.

> «Однажды я, будучи еще и сам сержантом, возвращаюсь с прогулки; слуга мой, встретя меня на крыльце, сказывает мне, что кто-то ждет меня, приехавший из Симбирска. Вхожу в горницу, вижу миловидного, румяного юношу, который с приятною улыбкою вручает мне письмо от моего родителя».
>
> «Стоило только услышать имя Карамзина, как мы уже были в объятиях друг друга. Стоило нам сойтись три раза, как мы уже стали короткими знакомцами».
>
> Еще более Карамзин сблизился и подружился в Петербурге со старшим братом Ивана Ивановича, Александром Ивановичем, о котором сохранилось несколько воспоминаний в «Письмах русского путешественника» и в статье «Цветок на гроб моего Агатона».
>
> «Едва ли не с год мы были неразлучны, – продолжает Дмитриев, – склонность наша к словесности, может быть, что-то сходное и в нравственных качествах, укрепляли нашу связь день ото дня более: мы давали взаимный отчет в нашем чтении. Между тем я показывал ему иногда мелкие мои переводы, которые были печатаны особо и в тогдашних журналах; следуя моему примеру, он принялся и сам за переводы. Первым опытом его был *разговор австрийской Марии-Терезии с нашей императрицей Елисаветою в Елисейских полях,* переведенный им с немецкого языка».
>
> «Я советовал ему показать его книгопродавцу Миллеру, который покупал и печатал переводы, платя за них, по произвольной оценке и согласию переводчика, книгами из своей книжной лавки. Не могу без улыбки вспомнить, с каким торжественным видом добрый и милый юноша Карамзин вбежал ко мне, держа в обеих руках по два томика Фильдингова „Томаса Джонса“ („Tom Jones“), в маленьком формате с картинками, перевода Харламова. Это было первым его возмездием за словесные труды».

«Словесные труды» прельстили Карамзина. В том же 1783 году он перевел идиллию Геснера «Деревянная нога», в которой каждая фраза удивительно хорошо восстанавливает перед нами

язык слащавой и добродетельной немецкой поэзии прошлого века – до Гете и Шиллера. В идиллии речь идет, разумеется, о молодом пастухе, пасущем коз на берегу источника, о приятном шуме свирели, о добродетельном старце, поучающем юношество, и многих других одинаковых вещах.

Но как ни приятны были словесные труды, юноша рвался к геройским подвигам и хотел «разить весь свет», чтобы «прельстить женщин». Разить весь свет значило в то время воевать с турками, и Карамзин стал проситься в действующую армию. Но назначение зависело преимущественно от полкового секретаря, который, как все секретари, брал взятки, и так как у Карамзина денег было мало, то от желания разить свет ему, к счастью, пришлось отказаться. Он, разочарованный, вышел в отставку и уехал в Симбирск, где в это время умер его отец, оставив после себя небольшое наследство.

В Симбирске его видел Дмитриев и нашел его «уже играющим роль надежного на себя светского человека: решительным за вистовым столом, любезным и занимательным в дамском кругу и политиком перед отцами семейств, которые хотя и не привыкли слушать молодежь, но его слушали. Такая жизнь не охладила, однако ж, в нем прежней охоты к словесности; при первом нашем свидании, с глазу на глазу, он спрашивает меня, занимаюсь ли по-прежнему переводами, и сказал, что сам занимается ими…»

Глава II

Знакомство с Новиковым. – Дружба с Петровым. – «Детское чтение»

Рассеянная светская жизнь Карамзина продолжалась недолго. Его же земляк, Иван Петрович Тургенев, уговорил его ехать в Москву, что и случилось в конце 1784 года. В Москве тот же Тургенев ввел Карамзина в лучший и, пожалуй, единственный интеллигентный кружок того времени, собравшийся возле знаменитого книгоиздателя Новикова, где, по словам Дмитриева, он имел случай вращаться в среде людей степенных, соединенных дружбою и просвещением.

Подробности о жизни и личности Новикова читатель может почерпнуть из его биографии, мне же придется ограничиться лишь немногими словами об этом замечательном человеке. Множество разнообразных талантов прежде всего бросается в нем в глаза. Его чуткость к потребностям времени говорит о недюжинности его натуры. Его способности организации и влияния на людей поразительны. Его честность и сила воли несомненны. В общем, это в высшей степени редкий тип русского человека, обладающий громадной инициативой и способностью идти собственной дорогой, не обращая внимания на желание сильных и на косность массы.

Утверждают, что в русском человеке вообще преобладают два свойства – табунное начало и смирение духа. Он теряется и недоумевает, когда не чувствует за собой толпы, массы или не действует по чьему-либо приказанию. В нем слабо чувство личности, еще слабее стремление к риску или упрямому долгому труду. Он готов браться за все, но охладевает так же быстро, как и возгорается. В первый день у него восторги и увлечения, на второй – уныние и сознание ненужности всего – начатого дела, самого себя, мироздания. Правильно замечено, что русский человек делает все так, как будто сроку его жизни – один день, а немец – так, как будто сроку его жизни – лет сто, пожалуй, и больше. Убеждаясь постепенно в бесплодности своей инициативы, русский в конце концов смиряется перед силой, которая берется руководить им.

Если эта характеристика справедлива, то в лице Новикова мы имеем блестящее исключение. Обладая сравнительно небольшими средствами, он всегда брался за великие дела и, что всего важнее, никогда не останавливался на полпути. Начавши по

обычаю свою карьеру офицером, он скоро оставил торную дорогу и принялся за издание сатирических журналов, из которых «Живописец» был лучшим не только в свое время, но и вообще вплоть до нашего времени. Переехав в Москву, Новиков немедленно же основал «Дружеское общество» и наводнил своими прекрасными изданиями читающую по складам Россию. Влияние его энергичной нравственной личности на людей было велико, он умел возбуждать преданность к себе, умел сплачивать вокруг себя самые разнообразные элементы, умел для каждого найти подходящее дело и привязать человека к этому делу на всю жизнь. Разумеется, он оказался опасным и, как таковой, был приговорен даже к смерти, но милостивая резолюция заключила его в крепость без срока.

На Карамзина, однако, Новиков особенного влияния не оказал, в чем, по моему мнению, виновата поверхностная, хотя несомненно даровитая натура нашего историографа. Сам Карамзин о Новикове отзывался так:

> «Новиков в самых молодых летах сделался известен публике своим отличным авторским дарованием: без воспитания, без учения, писал остроумно, приятно и с целью нравственною; издал многие полезные творения, например: „Древнюю Российскую Вивлиофику“, „Детское Чтение“, разные экономические учебные книги. Императрица Екатерина II одобряла труды Новикова, и в журнале его („Живописец“) напечатаны некоторые произведения собственного пера ее. Около 1785 года он вошел в связь по масонству с берлинскими теософами и сделался в Москве начальником так называемых мартинистов, которые были (или суть) не что иное, как христианские мистики: толковали природу и человека, искали таинственного смысла в ветхом и новом завете, хвалились древними преданиями, унижали школьную мудрость и проч.; но требовали истинных христианских добродетелей от учеников своих, не вмешивались в политику и ставили в закон верность к государю. Их общество, под именем масонства, распространилось не только в двух столицах, но и в губерниях; открывались ложи; выходили книги масонские, мистические, наполненные загадками. В то же время Новиков и друзья его на свое иждивение воспитывали бедных молодых людей, учили их в школах, в университетах; вообще употребляли немалые суммы на благотворения».

Из этих слов видно, как неглубоко понял Карамзин Новикова

и его масонство, иначе бы он не говорил об унижении школьной мудрости, как об одном из пунктов программы своего учителя. Не школьная мудрость была ненавистна Новикову, а формализм образования, все равно как в самом масонстве он всегда недолюбливал те внешние знаки и обряды, которыми держались и разъединялись ложи каменщиков. Как масон Новиков мечтал о той утопии, которая тревожит людей и в наше время, – о чистом христианстве, таком то есть, каким оно завещано Христом и под чьим знаменем могли бы объединиться люди без различия национальностей и церквей. Наперекор духу своего времени Новиков был человеком в высокой степени религиозным; его поражала и мучила ненависть католика к протестанту и ненависть протестанта к православному. Создать единое христианское стадо было его конечной целью, оттого-то обряд формы так тяготил его. Но чтобы люди составили единое стадо – их надо просвещать, и Новиков потратил на это просвещение все свои силы, средства и жизнь. Карамзин (ему, заметим, было в 1785 году только 18 лет) не понял Новикова, а Новиков понял его и сразу нашел для него подходящее дело. Он предложил ему переводы разных иностранных сочинений по педагогике. Карамзин согласился, находя, что такое занятие для него очень полезно, так как выработает из него хорошего переводчика.

В результате появилось «Детское чтение».

«Детским чтением» Карамзин заведовал не один, а вместе с другом своим Петровым, личность которого нам неизвестна. Дмитриев говорит о нем довольно общо, подчеркивая преимущественно его «просвещенность» и «благородство сердца», но как жил, чувствовал этот просвещенный и благородный человек – мы не знаем. «Петров, – читаем мы у Дмитриева, – знаком был с древними и новыми языками; при глубоком знании отечественного слова одарен был необыкновенным умом и способностью к здравой критике; но, к сожалению, ничего не писал для публики и упражнялся только в переводах. Карамзин полюбил Петрова, хотя они были не во всем сходны между собою: один пылок, откровенен и без малейшей доли желчи, другой же угрюм, молчалив и подчас насмешлив; но оба питали равную страсть к познаниям, к изящному, и это заставило их прожить долгое время в тесном согласии под одною кровлею у Меншиковой башни, в старинном каменном доме».

Во взаимных отношениях друзей Петров, по-видимому, играл роль руководителя. Карамзин в патетической статье своей, озаглавленной «Цветок на гроб моего Агатона», т. е. Петрова, говорит между прочим:

> «Я нашел в нем то, что с самого ребячества было приятнейшею мечтою моего воображения, – человека, которому мог я открывать все милые свои надежды, все тайные сомнения; который мог рассуждать и чувствовать со мною, показывать мне мои заблуждения и научать меня не повелительным голосом учителя, но с любезною кротостью снисходительного друга; одним словом, я нашел в нем сокровище, особливый дар неба, который не всякому смертному в удел достается, и время нашего знакомства, нашего дружества будет всегда важнейшим периодом жизни моей».

В своих письмах Петров дает Карамзину почти отеческие наставления, советует лечиться от скуки работой, не жаловаться на судьбу и не представлять свое положение чересчур мрачным. Иногда он добродушно подшучивал над своим другом, например: «Будучи великий жени (гений), ты столько превознесся над мелочами, что в трех строках сделал пять ошибок против немецкого языка. Пожалуй, употреби в пользу сие дружеское замечание и лучше пиши все сочинение на русско-славянском языке, долго – сложно – протяжно парящими словами». О себе Петров одинаково отзывается всегда с добродушным юмором, уверяя, что он лично никуда не годится, даже мышей ловить.

В письмах и переводах Петрова бросается прежде всего в глаза прекрасный, чистый и удивительно простой язык, на котором положительно отдыхаешь, утомленный риторикой и цветами стиля того времени. Посмотрите, например, как пишет Карамзин о своих отношениях к другу: «Часто дух наш на крыльях воображения облетал небесные пространства, где Орион и Сириус в златых венцах сияют; там искали мы нежных друзей своему сердцу, и часто заря утренняя красила восточное небо, когда я расставался с Агатоном и возвращался домой с покойною душою с новыми знаниями или с новыми идеями».

Невольно воскликнешь: «Боже! да чего тут только нет! И Орион, и Сириус, и крылья воображения, и златые венцы!» Или из того же Карамзина:

> «Верный вкус друга моего был для меня светильником в искусстве и поэзии. Восхищенный красотой цветов, растущих на сем поле, дерзал я иногда младенческими руками образовать нечто подобное оным и незрелые свои мысли изливать на бумагу».

Сравните с этими деланными фразами простые, сильные фразы Петрова, который, если не считать Кантемира, первый стал

писать разговорным языком, и вы не затруднитесь, чему отдать предпочтение. «Что касается до меня, то я по отпуске сего письма жив и здоров, – пишет, например, Петров, – но знаю это потому только, что ем, пью и сплю попеременно, иных же знаков жизни никаких не предвидится…» Или: «простота чувствования – превыше всякого умничанья: грешно сравнивать натуру (природу) с педантскими подражаниями, натянутыми подделками низших умов».

Несомненно, что Петров первый заинтересовал Карамзина Шекспиром и советовал ему переводить его драмы на русский язык; то же, вероятно, можно сказать и относительно Лессинга. Петров был тем, что в наши дни принято называть трезвым умом. Он стремился к полезному, не терпел ни фраз, ни излишней чувствительности, в самых увлечениях своих он не расставался с добродушной иронией. Его влияние на Карамзина, особенно на слог последнего, несомненно. К сожалению, это все, что мы можем сказать о нем. Петров рано умер, риторика Карамзина никаких основательных сведений нам о нем не сохранила.

Четыре года пробыл Карамзин среди членов «Дружеского общества», постоянно занимаясь литературой. Кроме статей для «Детского чтения» он переводил философские и мистические трактаты, например «Размышления» Штурма, сочинения Галлера «О происхождении зла» и многое другое. Впрочем, как уже было замечено выше, влияние масонов «Дружеского общества» на Карамзина было слабо и поверхностно. Что делал он в «Детском чтении»? Главным образом переводил, но однажды рискнул создать нечто оригинальное, в результате чего и появилась «Русская старинная повесть: Евгений и Юлия». Это была первая «чувствительная повесть» на нашем языке, почему и ознакомимся с ее содержанием:

> «Г-жа Л. удалилась из Москвы в деревню, где жила в полном уединении с Юлией, дочерью умершей своей приятельницы. Весну и лето проводили они в наслаждениях „приятностями природы“. Когда же наступала пасмурная осень и черным мраком все творение покрывала, или свирепая зима, от севера несущаяся, потрясала мир бурями своими, когда в нежное Юлино сердце вкрадывалась томная меланхолия и тихими вздохами колебала ее грудь, тогда брались за книги, бессмертные творения истинных философов для пользы рода человеческого, тогда читали и перечитывали письма любезного Евгения, учившегося в чужих краях. Иногда при чтении сих писем глаза Юлины

наполнялись слезами приятными любви и почтения к благоразумному и добросердечному юноше. „Ах, когда он к нам приедет? – часто говаривала г-жа Л., – как счастлива буду я, когда его увижу, прижму к своему сердцу и тебя с ним вместе, Юлия“.

«Наконец он приехал. Дружба его к Юлии обратилась в пламенную любовь. Он подарил ей множество книг французских, итальянских и немецких. Юлия прекрасно играла на клавесине и пела. Особенно нравилась ей песнь Клопштока, к которой музыку сочинил Глюк. Евгений и Юлия часто гуляли при свете луны, рассматривали звездное небо и дивились величеству Божию; внимая шуму водопада, рассуждали о бессмертии. Сколько высоких, нежных мыслей сообщали они друг другу, быв оживлены духом натуры».

«Когда Евгению минуло двадцать два года, а Юлии – двадцать один, они открылись друг другу во взаимной любви, г-жа Л. была в восторге. Но – увы! – прочное счастие редко существует в свете. Евгений заболел горячкою и в девятый день умер».

«Один молодой, чувствительный человек, проезжавший чрез деревню г-жи Л. и слышавший сию печальную повесть, посетил гроб Евгениев, и на белом камне, лежавшем между цветов на могиле, написал карандашом следующую эпитафию, которая после была вырезана на особливом мраморном камне:

Сей райский цвет не мог в сем мире распуститься —
Увял, изсох, опал – и в рай был пренесен».

В 1787 году Карамзин перевел трагедию Шекспира «Юлий Цезарь», издал ее и предпослал переводу очень характерное примечание. Здесь он называет Шекспира «одним из тех великих духов, коими славятся веки». Он говорит далее, что «время, сей могущественный истребитель всего того, что под солнцем находится, не могло еще доселе затмить изящность и величие шекспировских творений. Каждая степень людей, каждый возраст, каждая страсть, каждый характер говорит у него собственным своим языком. Что Шекспир не держался правил театральных – правда. Истинною причиною сему, думаю, было пылкое его воображение, не могшее покориться никаким предписаниям; дух его парил яко орел и не мог парения своего измерить тою мерою, которую измеряют полет свой воробьи»…

Надо согласиться, что было смелым и прекрасным делом высказывать такие мысли русскому обществу, выросшему на

трагедиях Сумарокова, почитавшего себя превыше господина Вольтера и соблюдавшего все три «единства» – времени, места и действия. Свой восторг перед Шекспиром Карамзин излил также в следующем положительно недурном стихотворении:

Шекспир, натуры друг! кто лучше твоего
Познал сердца людей? Чья кисть с таким искусством
Живописала их? Во глубине души
Нашел ты ключ к великим тайнам рока
И светом своего бессмертного ума,
Как солнцем, озарил пути ночные жизни:
Все башни, коих верх скрывается от глаз,
В тумане облаков огромные чертоги,
И всякий гордый храм исчезнут как мечта —
В течение веков и места их не сыщем —
Но ты, великий муж, пребудешь незабвен.

Вскоре после «Юлия Цезаря» Карамзин перевел и знаменитую трагедию Лессинга «Эмилия Галотти».

Из всего этого видно, что его занятия, интересы, даже знакомства были чисто литературными. Политикой он совершенно не интересовался, и великолепные утопии царствования Екатерины даже не тронули его. Он не мечтал вместе с Бецким о создании новой породы людей, не стремился вместе с Суворовым и Потемкиным под стены Константинополя, чтобы восстановить великую Византийскую империю и водрузить крест вместо полумесяца на купол Софийского собора. Перед нами скромный труженик, всегда приветливый, добрый, с любезною склонностью к меланхолии. Он мечтал лишь о том, чему суждено было скоро осуществиться – о заграничном путешествии.

Перед отъездом в чужие земли Карамзин порвал всякие связи с масонами «Дружеского общества».

«Я, – рассказывал он впоследствии Гречу, – был обстоятельствами вовлечен в это общество в молодости моей и не мог не уважать в нем людей, искренно и бескорыстно искавших истины и преданных общеполезному труду. Но я никак не мог разделить с ними убеждения, будто для этого нужна какая-либо таинственность, – и не могли мне нравиться их обряды, которые всегда казались мне нелепыми. Перед моею поездкою за границу я откровенно заявил в этом обществе, что, не переставая питать уважение к почтенным членам его и признательность за их постоянное доброе ко мне расположение, я, однако ж, по собственному убеждению принимать далее участие в их

собраниях не буду и должен проститься. Ответ их был благосклонный; сожалели, но не удерживали, и на прощанье дали мне обед. Мы расстались дружелюбно».

Глава III

Поездка за границу. – «Письма русского путешественника»

Для русского человека поездка за границу была далеко не обычным явлением в XVIII веке. Такая поездка требовала и значительных средств, и знания иностранных языков, и сравнительно высокого умственного развития. Все это было у Карамзина, и в мае 1789 года он выехал наконец из столицы в дорожном дормезе с любимыми книгами в чемодане. Петров провожал его до заставы. «Там, – рассказывает нам путешественник, – обнялись мы с ним и еще в первый раз видел я слезы его; – там сел я в кибитку, взглянул на Москву, где оставалось для меня столько любезного, и сказал: „Прости!“ Колокольчик зазвенел, лошади помчались, и друг ваш осиротел в мире, осиротел в душе своей…» Что же так сильно тянуло Карамзина за границу? Думал ли он изучать промышленность и торговлю, общественные или политические учреждения, нравы и обычаи европейских народов? – Ни то, ни другое, ни третье. Его манила неизвестность, всегда таинственная для молодого человека, манила чужая природа, горы Швейцарии, синяя вода Женевского озера, шум великого города, красиво раскинувшегося на монмартрских холмах, а главным образом ему хотелось ознакомиться с великими людьми, чьи произведения он читал в России, кого привык уважать и любить. Более поверхностного наблюдателя, чем Карамзин, трудно даже найти; но вместе с тем трудно найти и более интересного автора записок, особенно у нас, в России. «Письма русского путешественника» Карамзина и «Письма об Испании» Боткина, несомненно, самые изящные произведения наших туристов. Объясняя цель своего путешествия, Карамзин говорит: *«Приятно и весело,* друзья мои, переезжать из одной земли в другую, видеть новые предметы, с которыми, кажется, самая душа наша обновляется и чувствует неоцененную свободу человека, по которой он подлинно может назваться царем земного творения». *«Приятными и веселыми* вышли и «Письма русского путешественника». Не ищите в них только ничего особенно глубокого, и они несомненно даже и теперь доставят вам значительное удовольствие.

Карамзин пробыл за границей около полутора лет, от мая 1789 года до сентября 1790 года. Он посетил Германию, Францию, Швейцарию и Англию. Главные места, где он дольше других останавливался, были: Берлин, Лейпциг, Женева, Париж и

Лондон.

Первый замечательный человек, которого посетил Карамзин в Кенигсберге, был великий философ Эммануил Кант. Полагаю, что встреча с ним – самая интересная из всех встреч нашего путешественника, почему и привожу ее описание полностью.

«Меня, – рассказывает Карамзин, – встретил маленький, худенький старичок, отменно белый и нежный. Первые слова мои были: „я – русский дворянин, люблю великих мужей и желаю изъявить мое почтение Канту“. Он тотчас попросил меня сесть, говоря: „я писал такое, что не может нравиться всем, немногие любят метафизические тонкости“.

«С полчаса поговорили мы о разных вещах: о путешествиях, о Китае, об открытии новых земель. Надобно было удивляться его историческим и географическим знаниям, которые, казалось, могли бы одни загромоздить магазин человеческой памяти, но это у него, как немцы говорят, дело постороннее. Потом *я, не без скачка, обратил разговор на природу и нравственность человека;* и вот что мог удержать в памяти из его рассуждений:

«Деятельность есть наше определение. Человек не может быть никогда совершенно доволен обладаемым, и стремится всегда к приобретениям. Смерть застает нас на пути к чему-нибудь, что мы еще иметь хотим. Дай человеку все, чего желает; но он в ту же минуту почувствует, что это *все* не есть *все.* Не видя цели или конца стремления нашего в здешней жизни, полагаем мы будущую, где узлу надобно развязаться. Сия мысль тем приятнее для человека, что здесь нет никакой соразмерности между радостями и горестями, между наслаждением и страданием. Я утешаюсь тем, что мне уже шестьдесят лет, и скоро придет конец жизни моей; ибо надеюсь вступить в другую, лучшую. Помышляя о тех услаждениях, которые имел я в жизни, не чувствую теперь удовольствия; но, представляя себе те случаи, где действовал сообразно с *законом нравственным,* начертанным у меня в сердце, радуюсь. Говорю *о нравственном законе:* назовем его совестью, чувством добра и зла – но он есть. Я солгал; никто не знает лжи моей, но мне стыдно. – Вероятность не есть очевидность, когда мы говорим о будущей жизни; но, сообразив все, рассудок велит нам верить ей. Да и что бы с нами было, когда бы мы, так сказать, *глазами увидели ее*? Если бы она нам очень полюбилась, мы бы не могли уже заниматься нынешнею жизнью и были в беспрестанном томлении; а в противном случае не имели бы утешения сказать себе в горестях здешней жизни: *авось там будет лучше!* – Но говоря о нашем определении, о жизни будущей и проч., предполагаем уже бытие Всевечного творческого разума, все для чего-нибудь создавшего и всему благотворящего. Что? как?.. Но

здесь первый мудрец признается в своем невежестве. Здесь разум погашает светильник свой, и мы во тьме остаемся; одна фантазия может носиться во тьме сей и творить несобытное».

«Почтенный муж, – заключает Карамзин свое изложение, – прости, если в сих строках обезобразил я мысли твои».

Из Кенигсберга Карамзин отправился в Берлин, где посетил знаменитого в прошлом столетии книгопродавца Николаи, друга и издателя Лессинга. Разговор зашел о происходившей в то время ожесточенной полемике между католиками и протестантами. Наш путешественник предается следующим рассуждениям о веротерпимости: «Где, – говорит он, – искать терпимости, если сами философы, самые просветители – а они так себя называют, – оказывают столько ненависти тем, которые думают не так, как они? Тот есть для меня истинный философ, *«кто со всеми может ужиться в мире,* кто любит и несогласных с его образом мыслей». В этих словах никак нельзя не отметить излишнего добродушия. Терпимость к чужому мнению – вещь прекрасная, но если чужое мнение прокладывает себе дорогу костром и виселицами, пытками и тюрьмами, если оно неискреннее, если оно заботится не об истине, а о том, чтобы какими бы то ни было средствами заставить замолчать своего противника, то терпимость к нему становится прямо преступной. Во всяком случае подчеркнутые слова характерны для Карамзина.

В Берлине же Карамзин посетил театр и плакал, смотря драму Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние». Описывая свои впечатления, он роняет глубокие слова, припомнить которые нелишне еще и теперь: «Я думаю, что у немцев не было бы таких актеров, если бы не было у них Лессинга, Гете, Шиллера и других драматических авторов, которые с такой живостью представляют в драмах своих человека, каков он есть, отвергая все излишние украшения или французские румяна, которые человеку с естественным вкусом не могут быть приятны. Читая Шекспира, читая лучшие немецкие драмы, я живо воображаю себе, как надобно играть актеру и как что произнесть, но при чтении французских трагедий редко могу представить себе, как можно в них хорошо играть актеру или так, чтобы меня тронуть».

В июле Карамзин был уже в Саксонии. Интересен разговор, который он вел по дороге из Мейсена в Лейпциг о *бессмертии души.*

«Федон, – сказал спутник (студент), – есть, может быть, самое остроумнейшее философическое сочинение; однако ж все доказательства бессмертия нашего основывает автор на одной гипотезе. Много вероятности, но нет уверения; и едва ли не тщетно будем искать его в творениях древних и новых

философов. – *Надобно искать в сердце,* – *сказал я.* – «О, государь мой! – возразил студент, – *сердечное* уверение не есть еще *философическое* уверение, оно не надежно; теперь чувствуете его, а через минуту оно исчезнет, и вы не найдете его места. Надобно, чтобы уверение основывалось на доказательствах, на тех врожденных понятиях чистого разума, в которых заключаются все вечные необходимости истины… Сего-то уверения ищет метафизик в уединенных сенях, во мраке ночи, при слабом свете лампады, забывая сон и отдохновение. – Ежели бы могли мы узнать точно, что такое есть душа сама в себе, то нам все бы открылось; но…» Тут вынул я из записной книжки своей одно письмо доброго Лафатера и прочитал студенту следующее: «Глаз по своему образованию не может смотреть на себя без зеркала. Мы созерцаемся только в других предметах. Чувство бытия, личность, душа – все сие существует единственно потому, что вне нас существует, – по феноменам или явлениям, которые до нас касаются».

Разговор оборвался на половине, но все же в возражениях Карамзина можно различить отдаленный отзвук масонских речей и взглядов.

В Лейпциге, увидя могилу Геллерта, Карамзин проявил всю свою нежную чувствительность. Произошла сцена во вкусе наших прадедов. Трактирщик позвал ужинать Карамзина, только что вернувшегося с кладбища. «Нет, г-н Мемель, – воскликнул тот, – я не пойду ужинать. Сяду под окном, буду читать Вейсееву элегию на смерть Геллерта, Крамерову и Денисову оду, буду читать, чувствовать и – может быть плакать. Нынешний вечер посвящу памяти добродетельного. Он здесь жил и учил добродетели».

Наконец Карамзин достиг жилища олимпийцев, как тогда называли Веймар. «Здесь ли Виланд? Здесь ли Гердер? Здесь ли Гете?» – были его первыми нетерпеливыми вопросами. Ему отвечали, что здесь, и он немедленно же полетел к Гердеру «на крыльях своей восторженности». Однако свидания с Гердером и Виландом не дали Карамзину ничего особенно нового, и дело кончилось лишь тем, что он удовлетворил свою страсть лицезреть знаменитых и прославленных людей. Характерен, впрочем, разговор с Виландом, – другом и одно время даже соперником Гете, автором бесчисленных стихотворений и поэм, теперь совершенно и справедливо забытых. Приводим этот разговор с сокращениями.

«Простите, – сказал, входя, Карамзин, – если давешнее мое посещение было для вас не совсем приятно. Надеюсь, что вы не сочтете наглостью того, что было действием энтузиазма, произведенного во мне вашими прекрасными сочинениями». «Вы

не имеете нужды извиняться, – отвечал он, – я рад, что этот жар к поэзии так далеко распространяется, тогда как он в Германии пропадает». Тут сели мы на канапэ. Начался разговор, который минута от минуты становился живее и для меня занимательнее. Говоря о любви своей к поэзии, сказал он: «Если бы судьба определила мне жить на пустом острове, то я написал бы все то же, и с таким же старанием вырабатывал бы свои произведения, думая, что музы слушают мои песни». Он желал знать, пишу ли я? и не переведено ли что-нибудь из моих безделок на немецкий? Я сыскал в записной своей книжке перевод *«Печальной Весны».* Прочитав его, сказал он: «Жалею, если вы часто бываете в таком расположении, какое здесь описано. Скажите, – потому что теперь вы вселили в меня желание узнать вас короче, – скажите, что у вас в виду?» *«Тихая жизнь,* – отвечал я. – Окончив свое путешествие, которое предпринял единственно для того, чтобы собрать некоторые приятные впечатления и обогатить свое воображение новыми идеями, буду жить в мире с натурою и с добрыми друзьями, любить изящное и наслаждаться им». «Кто любит муз и любим ими, – сказал Виланд, – тот в самом уединении не будет празден и всегда найдет для себя приятное дело. Он носит в себе источник удовольствия, творческую силу свою, которая делает его счастливым».

Такие взгляды, конечно, были как нельзя более приятны Карамзину, который сам себя называл любителем муз и решительно ничем не интересовался, кроме литературы и поэзии.

Но вот и Швейцария, страна свободы. «Какие места! Какие места! – восклицает наш путешественник. – Отъехав от Базеля версты две, я выскочил из кареты, упал на цветущий берег зеленого Рейна и готов был в восторге целовать землю. Счастливые швейцарцы! всякий ли день, всякий ли час благодарите вы небо за свое счастье, живучи в объятиях прелестной натуры, под благодетельными законами братского союза, в простоте нравов и служа одному Богу? Вся жизнь ваша есть, конечно, приятное сновидение, и самая роковая стрела (т. е. смерть) должна кротко влетать в грудь вашу, не возмущаемую тиранскими страстями!..»

Этот риторический гимн швейцарской свободе является несколько неожиданным, но Карамзин никак не мог противодействовать искушению написать красивый и звучный период по поводу такого красивого и звучного слова, как «свобода». Впрочем, восторг по адресу последней был общим местом в литературе прошлого века, и лишь гораздо позже люди стали отдавать себе отчет в том, что, собственно, значит это красивое и звучное слово. Как бы там ни было, легко представить

себе, какое впечатление должны были производить музыкальные фразы Карамзина на современников. Они читали Вольтера и Руссо, они восторгались «красотами натуры» и «простотою нравов», они любили общие места и нежную чувствительность, все это в изобилии преподносилось им, и притом в самой изящной форме…

В Цюрихе Карамзин навестил Лафатера, имя которого было в то время очень громким, и вел с ним беседы преимущественно на философические темы. Разумеется, он предложил тотчас любимый свой вопрос: «Какая есть всеобщая цель бытия нашего, равно достижимая для мудрых и слабоумных?» Лафатер отвечал: «Бытие есть цель бытия. Чувство и радость бытия есть цель всего, чего мы искать можем». Но этим умным ответом наш путешественник остался почему-то недоволен.

Величественная красота швейцарской природы произвела на Карамзина сильное впечатление, и, надо отдать ему справедливость, он умел описывать ее так, как никто до него в России. Посмотрите, например, как разукрашено его легким пером описание экскурсии на горные вершины:

> «В четыре часа разбудил меня проводник мой. Я вооружился геркулесовскою палицею – пошел – с благоговением ступил первый шаг на Альпийскую гору и с бодростью начал взбираться на крутизны. Утро было холодно; но скоро почувствовал я жар и скинул с себя теплый сюртук. Через четверть часа усталость подкосила ноги мои – и потом каждую минуту надлежало мне отдыхать. Кровь моя волновалась так сильно, что мне можно было слышать биение своего пульса. Я прошел мимо громады больших камней, которые за десять лет перед сим свалились с вершины горы и могли бы превратить в пыль целый город. Почти беспрестанно слышал я глухой шум, происходящий от катящегося с гор снега. Горе тому несчастному страннику, который встретится сим падающим снежным кучам! Смерть его неизбежна. – Более четырех часов шел я все в гору, по узкой каменной дорожке, которая иногда совсем пропадала; наконец достиг до цели своих пламенных желаний и ступил на вершину горы, где вдруг произошла во мне удивительная перемена. Чувство усталости исчезло; силы мои возобновились; дыхание мое стало легко и свободно; необыкновенное спокойствие и радость разлились в моем сердце. Я преклонил колена, устремил взор свой на небо и принес

жертву сердечного моления – Тому, кто в сих гранитах и снегах напечатлел столь явственно свое всемогущество, свое величие, свою вечность!.. Друзья мои! я стоял на высочайшей ступени, на которую смертные восходить могут для поклонения Всевышнему!.. *Язык мой не мог произнести ни одного слова; но я никогда так усердно не молился, как в сию минуту».*

Будучи в Лозанне, Карамзин очень уместно припомнил Руссо и рассказал о его «Новой Элоизе». Руссо он любил особенно в дни своей юности. Все привлекало его к женевскому философу – и красивые риторические фразы, и нежная чувствительность, и религиозное настроение. «Недавно, – пишет Карамзин, – был я на острове св. Петра, где величайший из писателей осьмого на десять века укрывался от злобы и предрассуждений человеческих, которые, как фурии, гнали его из места в место. День был очень хорош. В несколько часов исходил я весь остров и везде искал следов женевского гражданина и философа: здесь, думал я, здесь, забыв жестоких и неблагодарных людей… неблагодарных и жестоких! Боже мой! как горестно это чувствовать и писать… здесь, забыв все бури мирские, наслаждался он уединением и тихим вечером жизни; здесь отдыхала душа его после великих трудов своих; здесь в тихой, сладостной дремоте покоились его чувства! Где он? Все осталось, как при нем было; но его нет, – нет! Тут послышалось мне, что и лес, и луга вздохнули, или повторили глубокий вздох моего сердца. Я смотрел вокруг себя – и весь остров показался мне в трауре. Печальный флер зимы лежал на природе. Ноги мои устали. Я сел на краю острова. Бильское озеро светлело и покоилось во всем пространстве своем; на берегах его дымились деревни; вдали видны были городки Биль и Нидау. Воображение мое представило плывущую по зеркальным водам лодку; зефир веял вокруг ее и правил ею вместо кормчего. В лодке лежал старец почтенного вида, в азиатской одежде; взоры его, на небеса устремленные, показывали великую душу, глубокомыслие, приятную задумчивость. Это он, тот, кого выгнали из Франции, Женевы, Нешателя – как будто бы за то, что Небо одарило его отменным разумом, что он был добр, нежен и человеколюбив»…

В окрестностях же Лозанны Карамзину удалось оказать содействие «двум любящим сердцам, разъединенным бедностью». Это довольно трогательное происшествие, рассказ о котором, наверное, должен был вызвать слезы на глаза наших чувствительных прабабок. Карамзин воспользовался своими знакомствами, и любящие сердца были соединены.

В Женеве наш путешественник прожил несколько месяцев и довольно близко сошелся с забытым теперь философом Боннетом, автором многих трактатов о нравственных задачах жизни, – и думал даже перевести кое-что из его произведений на русский язык, но различные занятия и хлопоты не позволили ему выполнить намерения.

Перевернем теперь несколько десятков страниц «Писем русского путешественника», – страниц, наполненных теми же излияниями, восторгами, отрывочными впечатлениями или подернутых грустью при мысли о разлуке с друзьями, и откроем книгу на том месте, где речь идет о Париже. Туда Карамзин прибыл 27 марта 1790 года и попал в самый разгар революции. Бастилия была уже разрушена, могучий голос Мирабо гремел с трибуны, феодализм был отменен, судьба старого порядка, монархии, церкви стояла на очереди.

Но все это не произвело на него особенного впечатления, он даже не задумался над страшной исторической драмой, происходившей у него на глазах, не попытался отдать отчета в ее грозном смысле: его по-прежнему интересуют прежде всего литература, искусство, самый город.

«Мы, – пишет он, например, – приближались к Парижу, и я беспрестанно спрашивал, скоро ли увидим его? Наконец открылась обширная равнина, а на равнине, во всю длину ее, Париж! Жадные взоры наши устремились на сию необозримую громаду зданий – и терялись в ее густых тенях. Сердце мое билось. Вот он (думал я) – вот город, который в течение многих веков был образцом всей Европы, источником вкуса, моды; которого имя произносилось с благоговением учеными и неучеными, философами и щеголями, художниками и невеждами, в Европе и в Азии, в Америке и в Африке; которого имя стало мне известно почти вместе с моим именем; о котором так много читал я в романах, так много слыхал от путешественников, так много мечтал и думал!.. Вот он!.. я его вижу и буду в нем! – Ах, друзья мои! *сия минута была одною из приятнейших минут моего путешествия!* Ни к какому городу не приближался я с такими живыми чувствами, с таким любопытством, с таким нетерпением!»

Он посещал театры, музеи, академии. Был ли он хотя раз на заседаниях национального собрания? Кажется, нет: это было не его дело. По поводу революции он отделывается мудрым размышлением: «всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан и в самом несовершеннейшем надо удивляться порядку, гармонии, благоустройству. Всякие насильственные потрясения гибельны и

каждый бунтовщик готовит себе эшафот. Предадим, друзья мои, предадим себя во власть Провиденью: Оно, конечно, имеет свой план: в его руке сердца государей и – довольно»…

В общем, парижские впечатления Карамзина сводятся к очень немногому.

> «Париж есть город единственный. Нигде, может быть, нельзя найти столько материй для философских наблюдений, как здесь; нигде столько любопытных предметов для человека, умеющего ценить искусства; нигде столько рассеяний и забав. Но где же и столько опасностей для философии, особливо для сердца? Здесь тысячи сетей расставлены для всякой его слабости… Шумный океан, где быстрое стремление волн мчит вас от Харибды к Сцилле, от Сциллы к Харибде! Сирен множество, и пение их так сладостно, усыпительно… Как легко забыться, заснуть! Но пробуждение едва ли не всегда горестно – и первый предмет, который явится глазам, будет пустой кошелек. Однако ж не надобно себе воображать, что парижская приятная жизнь очень дорога для всякого: напротив того, здесь можно за небольшие деньги наслаждаться всеми удовольствиями по своему вкусу. Я говорю о *позволенных,* и в строгом смысле позволенных удовольствиях иметь хорошую комнату в лучшей отели; поутру читать разные журналы, газеты, где всегда найдешь что-нибудь занимательное, жалкое, смешное; и между тем пить кофе, какого не умеют варить ни в Германии, ни в Швейцарии; потом кликнуть парикмахера, говоруна, враля, который наскажет вам множество забавного вздору о Мирабо и Мори, о Бальи и Лафайете, намажет вам голову прованскими духами и напудрит самою белою легкою пудрою; а там, надев чистый простой фрак, бродить по городу, зайти в Пале-Рояль, в Тюльери, в Елисейские поля, к известному писателю, к художнику, в лавки, где продаются эстампы и картины, – к Дидоту, любоваться его прекрасными изданиями классических авторов, обедать у ресторатора, где подают вам за рубль пять или шесть хорошо приготовленных блюд с десертом; посмотреть на часы и расположить время свое до шести, чтобы осмотреть какую-нибудь церковь, украшенную монументами, или галерею картинную, или библиотеку, или кабинет редкостей, явиться с первым движением смычка в опере, в комедии, трагедии, пленяться гармониею, балетом,

> смеяться, плакать – и с томною, но приятных чувств исполненною душою отдыхать в Пале-Рояле за чашкою баваруаза, взглядывать на великолепное освещение лавок, аркад, аллей в саду, – наконец возвратиться в свою тихую комнату и заснуть глубоким сном с приятною мыслью о будущем. – Так я провожу жизнь и доволен»…

Покинув Париж, Карамзин отправился в Англию, но мы уже не будем следить за его путешествием. В сентябре 1790 года он вернулся в Россию.

Таковы прославленные «Письма русского путешественника», десятки раз издававшиеся, прочтенные несколькими поколениями, умилявшие столько сердец. Что можем найти в них мы? Легкий и приятный слог, легкий и приятный рассказ, несколько мимоходом записанных глубоких мыслей, немало метких отзывов о произведениях искусства, столько же красиво, сколько и риторически нарисованных картин природы – и все. С более серьезными требованиями к этой книге обращаться нельзя. Она не ведет нас ни в историю своего времени, ни в настроение тогдашнего общества. ум автора скользит по поверхности жизни и как бы боится заглянуть в ее таинственную глубину.

Глава IV

«Московский журнал» и сборники

Возвратясь в Петербург осенью 1790 года, в модном фраке, с шиньоном и гребнем на голове, с лентами на башмаках, Карамзин введен был И. И. Дмитриевым к Державину и умными, любопытными рассказами обратил на себя его внимание. Державин одобрил его намерение издавать журнал и обещал сообщать ему свои сочинения.

Благодаря знакомству с Державиным, Карамзин вступил в высшее общество, где чувствовал себя как нельзя лучше, несмотря на незначительные свои доходы и невысокое происхождение. Но он не оставил, разумеется, и прежних дружеских связей и первым делом навестил своего «Агатона» Петрова. «Наконец, – пишет он, – я возвратился – спешил обнять поверенного моей души, воображал его приятное удивление, его радость… но сердце мое замерло, когда я увидел Агатона. Долговременная болезнь напечатлела знаки изнеможения на бледном лице его; в тусклых взорах изображалось душевное и телесное ослабление; огонь жизни простыл в его сердце темном и мрачном. Едва мог обрадоваться моему приезду, едва мог пожать руку мою: едва слабая, невольная улыбка блеснула на лице его подобно лучу осеннего солнца». Петров быстро угасал, по-видимому, от чахотки, с которой напрасно боролся его юный организм.

Но сам Карамзин был полон силы, надежд и веры в себя. Он решился издавать журнал, рассчитывая таким путем не только удовлетворить свою страсть к литературе, но и обеспечить свое существование. О службе, бывшей тогда в обычае, он и не помышлял и отказался даже от легкой должности секретаря, предложенной ему Державиным при себе. Как бы то ни было, перед нами первый кровный литератор, всегда рассчитывающий только на свое перо.

Характерно объявление, напечатанное Карамзиным, где он сообщает публике о своем намерении издавать журнал. Вот что писал он:

> «С января будущего 91 года намерен я издавать журнал, если почтенная публика одобрит мое намерение. Содержание сего журнала будут составлять:
>
> 1) *Русские сочинения в стихах и прозе,* такие, которые, по моему уверению, могут доставить

удовольствие читателям. Первый наш поэт – нужно ли именовать его? – обещал украшать листы мои плодами вдохновенной своей музы. Кто не узнает певца мудрой Фелицы? Я получил от него некоторые новые песни. И другие поэты, известные почтенной публике, сообщили и будут сообщать мне свои произведения. Один приятель мой, который из любопытства путешествовал по разным землям Европы, – который внимание свое посвящал натуре и человеку, преимущественно пред всем прочим, и записывал то, что видел, слышал, чувствовал, думал и мечтал, – намерен записки свои предложить почтенной публике в моем журнале, надеясь, что в них найдется что-нибудь занимательное для читателей.

2) *Разные небольшие иностранные сочинения,* в чистых переводах.

3) *Критические рассматривания* русских книг, вышедших, и тех, которые вперед выходить будут, а особливо оригинальных.

4) *Известия о театральных пьесах,* представляемых на здешнем театре, с замечаниями на игру актеров.

5) *Описание разных происшествий,* по чему-нибудь достойных примечания, и разные анекдоты, а особливо из жизни славных новых писателей.

Материалов будет у меня довольно; но если кто благоволит присылать мне свои сочинения или переводы, то я буду принимать с благодарностью все хорошее и согласное с моим планом, в который *не входят только теологические, мистические,* слишком ученые, педантические, сухие пьесы. Впрочем все, что в благоустроенном государстве может быть напечатано с указного дозволения, – все, что может нравиться людям, имеющим вкус, тем, для которых назначен сей журнал, – все то будет издателю благоприятно.

Журналу надобно дать имя; он будет издаваем в Москве, итак, имя готово: *«Московский Журнал».*

В начале каждого месяца будет выходить книжка в осьмушку, страниц до 100 и более, в синеньком бумажном переплете, напечатанная четкими литерами на белой бумаге, со всею типографическою точностию и правильностию, которая ныне в редких книгах наблюдается. Двенадцать таких книжек, или весь год, будет стоить в Москве 5 руб., а в других городах с пересылкою 7 руб.».

Свое объявление Карамзин заканчивает характерным для того времени обещанием: «Имена всех подписчиков будут напечатаны». Очевидно, что каждый подписчик или, как тогда назывался, «субскрибент» считал себя в некотором роде меценатом и полагал, что, уплачивая 5–7 руб. за журнал, совершает нечто филантропическое в отношении русской литературы.

Несомненно, что, берясь за издание журнала, Карамзин делал шаг очень смелый. Опыт его предшественников мог дать ему очень мало. В сущности, к чему сводился этот опыт?

В начале XVIII столетия в Москве явились *«Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти»,* выходившие под строжайшей цензурой большей частью самого государя Петра I. Это была первая русская газета, наполненная официальными реляциями послов отечеству и императору служащих. «Санкт-Петербургские ведомости», основанные в 1721 году, были не лучше, а сравнительно еще жиже, чем «Ведомости». С 1727 года начался первый русский журнал в нашем смысле слова, под названием *«Исторические, генеалогические и географические примечания к „Санкт-Петербургским ведомостям“*. Редакцию к примечаниям взял на себя немец Миллер, который ввел нечто новое, именно «Прибавления к примечаниям». В этих «прибавлениях» помещались сведения о всяких диковинных вещах, происходящих на свете, и они пришлись публике как нельзя более по вкусу. С довольно большими перерывами «Прибавления» выходили вплоть до 1755 года, когда тот же Миллер, расширив программу, заменил их *«Ежемесячными сочинениями, к пользе и увеселению служащими».* Самое заглавие уже указывает на содержание сочинений. Тут сообщалось и о разведении капусты, и о ходе семилетней войны, и об излечении мозолей, и о родившихся уродцах. В 1758 году Миллер, видя успех дела, сделал еще шаг вперед, и *«Ежемесячные сочинения»* превратились в *«Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие».* Здесь помещались статьи из лучших иностранных журналов, стихи Сумарокова и Хераскова, исследования самого Миллера. Публика приохочивалась к чтению, и Миллер имел уже несколько сот субскрибентов. Это вызвало конкуренцию. Сумароков, «почитавший себя не ниже г-на Вольтера», завел собственный журнал «Трудолюбивая пчела», где бранил все, что попадалось под руку, особенно почему-то Миллера. Перебранив всех и вся в течение года и наговорив лично самому себе бесчисленное множество самых беззастенчивых комплиментов, Сумароков бросил журнал и вернулся к стихам и драмам. Одновременно с «Пчелой» выходили *«Полезное с приятным»* и

«Праздное время, в пользу употребленное», – наполнявшиеся тем, что теперь мы называем «смесью». Все это выходило в Петербурге; в Москве на поприще журналистики подвизались Херасков *(«Полезное увеселение»),* Богданович *(«Невинное упражнение»)* и Сенковский *(«Доброе намерение»),* к которому как нельзя лучше приложимо изречение: «добрыми намерениями вымощен ад».

Журналисты невыносимо ссорились между собой, ссорились до того, что журнал Миллера был закрыт в 1765 году по распоряжению Екатерины II, «дабы не было соблазну». Целых 4 года вплоть до появления на сцену Новикова в России не было *ни одного* журнала и не издавалось ни одного альманаха. В 1769 году читатели с восторгом прочли первый номер новиковского «Трутня». Резкая и сильная сатира, нападавшая уже не на личностей, а на недостатки общественной жизни, – сатира, стремившаяся выполнить завет Кантемира – насмешкой исправляй людей, – обрадовала всех. Сатирические журналы размножились, как грибы после дождя, за сатиру взялась сама Екатерина, работая во «Всякой всячине». Кульминационного пункта сатирические журналы достигли в «Живописце» Новикова, но после этого началось их падение. Феерический период царствования приближался к концу, императрица стала высказывать опасения, не слишком ли далеко она зашла с вольными типографиями, комиссиями об уложении и некоторым подобием свободы печати. Стали поворачивать назад настойчиво, но незаметно. К этому же времени Новиков переселился в Москву, сблизился с масонами. Петербург осиротел и вместо богатой сатирической литературы остался при скучном «Санкт-Петербургском вестнике», – органе полуофициальном, чьей единственной красотой были стихи Державина. «Вестник» просуществовал лишь полтора года и был возобновлен лишь в 1786 году, но успеха не имел. Кроме него издавались еще несколько журналов, ничем не замечательных, и единственный любопытный факт, который надо отметить, это тот, что в период 1786–1790 годов журналы появились в провинции. Даже в Тобольске сосланный за продерзости Сумароков издавал «Иртыш, *превращающийся* в Ипокрену» – разумеется, под пером самого издателя.

Так жила и прозябала русская журналистика вплоть до Карамзина. Она имела лишь одно славное имя – Новикова и один действительно хороший журнал – «Живописец».

Программу «Московского вестника» мы уже знаем. Она была выполнена с полным умением. Посмотрим на содержание хотя бы одной только первой книжки.

Здесь в начале мы находим стихотворение Хераскова «Время»

и знаменитое «Видение Мурзы» Державина, поэму самого Карамзина («Послание к Филлиде»), сказку Дмитриева, очень хорошенькую, особенно по языку. Здесь же появились первые «Письма русского путешественника», критический разбор поэмы Хераскова «Кадм и Гармония», «Путешествие в Африку» Вальяна и трагедия Лессинга «Эмилия Галотти». Словом, стихи и проза, критика и библиография, разные статьи и анекдоты нашли себе место в первой же тоненькой книге «Московского журнала». Последующие были не хуже и число субскрибентов быстро возросло до 300 человек, с которыми можно было вести дело, так как за материал издатель не платил ничего. В этом же журнале Карамзин начал свою знаменитую и общеизвестную реформу русского языка.

Сначала выслушаем собственное его признание о том, что давало ему смелость взяться за такое большое дело. Однажды на вопрос молодого казанского литератора Каменева, каким образом усовершенствовал он себя в русском языке, Карамзин отвечал:

> «Родившись в деревне, воспитывался в Симбирске и читал много книг русских. Приехавши в Москву, учился в доме профессора Шадена немецкому и французскому языкам, начал переводить, сочинять и, к счастью, познакомился с Петровым (молодым человеком, которого под именем Агатона оплакивал). Он имел вкус моего свежее и чище; поправлял мои маранья, показывал красоты авторов, и я начал чувствовать силу и нежность выражений. Вознамерясь выйти на сцену, я не мог сыскать ни одного из русских сочинителей, который бы был достоин подражания, и, отдавая всю справедливость красноречию Ломоносова, не упустил я и заметить штиль его… вовсе не свойственный нынешнему веку, и старался писать чище и живее. Я имел в голове некоторых иностранных авторов; сначала подражал им, но после писал уже своим, ни от кого не заимствованным слогом. И это советую всем подражающим мне сочинителям, чтобы не всегда и не везде держаться оборотов моих, но выражать свои мысли так, как он кажется живее».

В другой раз он сказал Каменеву: «до издания „Московского журнала“ много бумаги мною перемарано, и не иначе можно хорошо писать, как писавши прежде худо и посредственно».

Знаменитая реформа, как мы видим из последних слов, происходила по мере того, как упражнялся и совершенствовался сам Карамзин. Конечно, он имел предшественников, и даже

нескольких высокоталантливых, например, Ломоносова, Новикова, Петрова. Что же он сделал? Новые введенные им слова немногочисленны и представляют из себя большей частью удачный перевод с французского, например, развитие (développement). Гораздо важнее, что Карамзин выкинул массу церковнославянских тяжелых оборотов и переменил самый строй фразы, приблизив ее к французской, вместо немецкой и латинской, как то сделал Ломоносов. Вместе с тем под влиянием Петрова он дал право гражданства на литературу разговорному языку. По этому поводу он высказал несколько ценных мыслей, например:

> «Жаль, что переводчик (драмы „Граф Ольсбах“) употребляет слова *сие* и *оное,* что на театре бывает всегда противно слуху. Употребляем ли мы сии слова в разговорах? Если нет, то и в комедии, которая есть представление общежития, употреблять их не должно. Чем слог театральной пьесы простее, тем лучше».
>
> *«Не употребляя во зло прав издателя, я осмелюсь только заметить два главные порока наших юных Муз: излишнюю высокопарность, гром слов не у места, и часто притворную слезливость».*
>
> «Поэзия состоит не в надутом описании ужасных сцен натуры, но в живости мыслей и чувств. Если стихотворец пишет не о том, что подлинно занимает его душу; если он не раб, а тиран своего воображения, заставляя его гоняться за чуждыми, отдаленными, несвойственными ему идеями; если он описывает не те предметы, которые к нему близки и собственною силою влекут к себе его воображение, если он принуждает себя или только подражает другому (что все одно), то в произведениях его не будет никогда живости, истины, или той своеобразности в частях, которая составляет целое, и без которой всякое стихотворение (несмотря даже на многие счастливые фразы) похоже на странное существо, описанное Горацием в начале эпистолы к Пизонам. Молодому питомцу Муз лучше изображать в стихах первые впечатления любви, дружбы, нежных красот, нежели разрушение мира, всеобщий пожар натуры и прочее в сем роде».

Хотя сам Карамзин и нарушал постоянно собственные правила, но все же высказывать мысли подобные приведенным было делом очень полезным в его время. Успех его пропаганды словом и делом был скорый и несомненный. Молодое поколение

приняло сторону «Московского вестника», все стали подражать языку и слогу Карамзина, даже его выражениям. Впоследствии для поддержания карамзинской реформы был основан и знаменитый кружок «Арзамас» с В. Жуковским и Пушкиным во главе.

Кроме «Писем русского путешественника» мы находим в «Московском вестнике» и знаменитую «Бедную Лизу», – повесть, по поводу которой было пролито столько слез. Успех «Бедной Лизы» был необычайный. И могли ли не восхищаться этой повестью в то блаженное время, когда мужчины мечтали о нежных, милых пастушках, а дамы в фижмах и пудре помешались на любви к буколическим Дафнисам и Терсисам? Лиза, бедная крестьянка, была если не пастушкой, то по крайней мере цветочницей, что по понятиям аркадской академии почти одно и то же. Нежные и мягкие сердца сострадали к Лизе, оплакивали ее обманутую фатом Эрастом любовь, проклинали ее соблазнителя и ходили «проливать слезы» на Чистые Пруды, где утопилась бедная Лиза.

Перед нами поразительная по своей странности картина нравов наших прадедов и прабабок. Чем эта «Бедная Лиза», – повесть с самым обыденным сюжетом, самыми обыденными красками и далеко не важно написанная, – могла так поразить чувствительные струны их сердец? Почему люди, видевшие вокруг себя столько страдания, сами заставлявшие страдать, – люди, выросшие в обстановке крепостного права, жестокой государственности, легкомысленных нравов, губивших так много лиц, смотрели на всю свою обстановку с полным равнодушием и ходили плакать на Чистые Пруды? Ведь маменька, проклинавшая Эраста, назвала бы его поступок простою шалостью, раз в роли соблазнителя явился ее сынок. А между тем искренне проливали слезы, искренне проклинали. И кто такая была бедная Лиза? Крестьянка, цветочница; за поступок, совершенный ею, по обычаю прошлого века, ее следовало отправить или на конюшню, или на скотный двор – и, происходи дело в действительности, ее непременно отправили бы в одно из вышеуказанных мест, а то и в оба сразу. Но тут – слезы!.. «Тысячи любопытных ездили и ходили на Чистые Пруды искать следов Лизиных», – свидетельствует сам Карамзин.

Причина заключалась, разумеется, в том, что искусство было само по себе, а жизнь сама по себе. Можно было любоваться хорошеньким личиком крестьянской девушки на картине и звать ее хамкой, бить ее по щекам, когда она являлась в качестве дворовой. Можно было сострадать человеку в повести и топтать в грязь его достоинство в действительности. Искусство было не

общественной силой, а, если так можно выразиться, лишь собранием звуков, вызывающих известное настроение – веселое или меланхолическое. Все служило мелодии, все выражалось в мелодии. Плакали на Чистых Прудах не из-за Лизы, а из-за собственного меланхолического настроения, вызванного мелодией Карамзина.

После двух лет издания Карамзин, несмотря на заметный успех журнала, совершенно неожиданно заявил публике, что более «Вестник» появляться не будет. Что за причина такого странного происшествия? Теперь уже мы не можем не видеть здесь давления сверху. Всего вероятнее, что Карамзину было прямо приказано прекратить издание, тем более, что как раз в это время шло следствие по его делу за дружбу с Новиковым и Плещеевым, за связь с «Дружеским обществом» и масонами, за заграничное путешествие наконец. Лично он выпутался совершенно счастливо, но «Вестник» погиб… Впрочем, такова обычная судьба журнала. А жалко. «Московский вестник» был несомненно живой, интересный орган, приучавший публику к чтению, что во всяком случае значит кое-что.

Глава V

Издание сборников. – «Вестник Европы»

Прощаясь с публикой в последней книге своего журнала, Карамзин писал между прочим:

> «Между тем у меня будут свободные часы, часы отдохновения; может быть, вздумается мне написать какую-нибудь безделку; может быть, приятели мои также что-нибудь напишут: – сии отрывки или целые пьесы намерен я издавать в маленьких тетрадках, под именем… например „Аглаи“, одной из любезных граций. Ни времени, ни числа листов не назначаю; не вхожу в обязательство и не хочу подписки; выйдет книжка, публикуется в газетах – и кому угодно, тот купит ее».
>
> «Таким образом „Аглая“ заступит место „Московского журнала“. Впрочем, она должна отличаться от сего последнего строжайшим, т. е. более выработанным слогом; ибо я не принужден буду издавать ее в срок. Может быть, с букетом первых весенних цветов положу я первую книжку „Аглаи“ на алтарь граций; но примут ли сии прекрасные богини жертву мою или нет – не знаю. „Письма Русского Путешественника“, исправленные в слоге, могут быть напечатаны особливо, в двух частях: первая заключается отъездом из Женевы, а вторая – возвращением в Россию. Драма кончилась и занавес опускается».

Начавшийся 1793 год был тяжел для Карамзина. В марте умер Петров, составление сборника затягивалось, полиция продолжала подозрительно смотреть на русского путешественника. Карамзин уехал в деревню и, точно влюбленный, отдался своей «Аглае», первая книга которой появилась лишь зимой. Сборник – прототип всех наших будущих альманахов – был составлен умелой рукой человека, знавшего, что не надо слишком далеко уходить от понимания публики, чтобы нравиться ей. Здесь мы находим несколько восторженных фраз о пользе просвещения, много стихов, несколько рассказов. Кроме хорошего языка, «Аглая» ничем не отличается от «Невинного развлечения» и ему подобных журналов.

Любопытно, между прочим, стихотворение Карамзина,

озаглавленное «Послание к Дмитриеву». Здесь мы находим полное изложение его житейской философии. Он согласен с тем, что жизнь совсем не так хороша, как она представляется в юности. Приходится мириться с ее несовершенствами, потому что:

– с Платоном
Республики нам не учредить,
С Питтаком, Фалесом, Зеноном
Сердец жестоких не смягчить.
И как может быть иначе, когда
Гордец не любит наставления
Глупец не терпит просвещения —
а гордецы и глупцы – сила жизни.
Что же делать? Остается одно:
Плакать бедных смертных долю
И смертный свет предать на волю
Судьбе и рока…

Утешение все же можно найти, но вот какое:

А мы, любя дышать свободно,
Себе построим тихий кров
За мрачной тению лесов,
Куда бы злые и невежды
Вовек дороги не нашли
И где б без страха и надежды
Мы в мире жить с собой могли,
Гнушаясь издали пороком…

«Аглаи» вышло два сборника; после них Карамзин издал свои «Аониды», где помещал различные стихотворения, называя поэзию «цветником чувствительных сердец». О стихах Карамзина можно вообще сказать, что, читая их, вы не ощущаете никакого восторга, точно так же, как его не ощущал сам автор, когда писал их. Карамзину было чуждо именно то, что мы называем вдохновением, оттого и самый язык его не имеет энергии. При чтении вы чувствуете недостаток гармонии и глубокого чувства. Лиризм его самый бледный; раз он касается природы, все дело ограничивается цветистыми лугами, соловьем и малиновкой… Поэты родятся, а Карамзин не был рожден поэтом.

В издании «Аглаи», «Аонид», «Писем» прошло целых восемь лет, не внеся в личную жизнь Карамзина ничего нового. Он

продолжал держать себя в стороне, отдавать большую часть времени литературным работам. От тяжелой современности Карамзин уходил в творчество по программе своего знаменитого четверостишия:

Ах, не все нам реки слезные
Лить о бедствиях существенных!
На минуту позабудемся
В чародействе красных вымыслов.

На самом деле было от чего уходить. Конец царствования императрицы Екатерины (1793–1796 гг.) и все царствование Павла Петровича были как бы продиктованы ужасом, навеянным на европейские правительства казнью Людовика XVI, революцией, победоносными войнами республиканцев. От свободы печати не осталось и тени. Новиков был брошен в крепости навеки, масонов раскассировали, знаменитый Шешковский дни и ночи занимался допросами воображаемых государственных преступников, Радищева едва не казнили. При Павле Петровиче дело пошло еще хуже и может лишь издали представляться комическим. Целые полки ссылались на поселение, всякое сношение с заграницей было запрещено, даже музыкальные ноты не допускались в Россию, подвергали страшным наказаниям всякого, нарушившего правила благочиния, правила бесчисленные и мелочные, вроде того, что надо было ложиться в таком-то часу, носить кафтан, а не фрак. Круглая шляпа, как революционная, подверглась изгнанию; вместо слова «отечество» приказано было говорить «государство». Люди боялись показываться на улицах, чтобы не очутиться в Сибири.

«Гнушаясь издали пороком», Карамзин старался держать себя как можно незаметнее. Впрочем, его не оставляли совершенно в покое. По рассказу Бантыш-Каменского, на него было несколько скверных доносов как на безбожника. Но, к счастью, доносы остались без последствия.

По отрывкам из его писем читатель может составить себе представление о меланхолии, в которой он находился все это время.

Например: «голова моя все как-то не свободна: то заботы, то неудовольствия, то… Бог знает что; однако ж все сбираюсь и, выдав книжки три „Пантеона“ (NB. для подспорья кошельку своему), верно что-нибудь начну или начатое кончу. Только цензура, как черный медведь, стоит на дороге; к самым безделицам придирается. Я „кажется“ и сам могу знать, что позволено и чего не должно позволять; досадно, когда в

безгрешном находят грешное». Или, от 11 *октября* 1798 года: *«Я, как автор,* могу исчезнуть заживо. Здешние цензоры при новой эдиции «Аонид» поставили + на моем послании к женщинам. Такая же участь ожидает и «Аглаю», и «Мои безделки», и «Письма русского путешественника», то есть вероятно, что цензоры при новых изданиях захотят вымарывать и поправлять, а лучше все брошу, нежели соглашусь на такую гнусную операцию; и таким образом через год не останется в продаже, может быть, ни одного из моих сочинений».

«Умирая *авторски,* восклицаю: да здравствует российская литература! – Впрочем, цензоры крайне обязывают лень мою, которая в их строгости находит для себя оправдание… Я перевел несколько речей из Демосфена, которые могли бы украсить *«Пантеон»;* но цензоры говорят, что Демосфен был республиканец и что таких авторов переводить не должно – и Цицерона также, и Саллустия также… Grand Dieu! Что же выйдет из моего «Пантеона»? План издателя разрушился. Я хотел для образца перевести что-нибудь из каждого древнего автора. Если бы экономические обстоятельства не заставляли меня иметь дело с типографиею, то я, положив руку на алтарь муз и заплакав горько, поклялся бы не служить им более ни сочинениями, ни переводами. Странное дело! У нас есть академия, университет; а литература под лавкою…»

Затаенная ирония слышится в следующих фразах: «Новость здесь та, – пишет Карамзин брату в 1797 году, – что нам опять позволяют носить фраки, но круглые шляпы остаются под прежним запрещением». Или (1798 год): «Новостей у нас немного. Опять говорят о запрещении фраков. Летом на улице надо будет ходить во французском кафтане и кошелке или в мундире со шпагою…» И т. д.

Даже такому нетребовательному человеку, как Карамзин, было тяжело в то время, когда монархический принцип воплощался в кафтанах и круглых шляпах. Казалось, рушилось все. От великолепных утопий царствования Екатерины, от громких споров в комиссии уложения, от мудрых, хотя и заимствованных фраз «Наказа», от смеха сатирических журналов – не осталось и следа. Глухой рокот патрульного барабана с утра до вечера раздавался по улицам, заглушая человеческую речь, нагоняя ужас, тоску, ожесточение.

«Россияне смотрели на сего монарха, – писал впоследствии Карамзин, – как на грозный метеор, считая минуты и с нетерпением ожидая последней. Она пришла, и весть о том в целом государстве была вестью искупления: в домах, на улицах люди плакали от радости, обнимая друг друга, как в день

Светлого Воскресения. Кто был несчастливее Павла? Слезы горести лились только в недрах его августейшего семейства; тужили еще некоторые им облагодетельствованные, но какие люди! Их сожаление не менее всеобщей радости долженствовало оскорбить душу Павлову, если она, по разлучении с телом, озаренная наконец светом истины, могла воззрить на землю и на Россию». («Русский архив», 1870, 2270).

Грусть и меланхолия по необходимости должны были возрастать со дня на день в каждой мыслящей душе. По всей Европе уже чувствовалось приближение реставрации. Угару свободолюбия, увлечения философией и философами наступал конец. Чудными словами, быть может самыми искренними из всех, которые когда-либо вырвались из-под его пера, Карамзин передает свое разочарование, свое угнетенное настроение духа, которое он делил с лучшими из современников.

«Кто более нашего, – пишет он, – славил преимущество XVIII века, свет философии, смягчение нравов, всеместное распространение духа общественности, теснейшую и дружелюбнейшую связь народов?., хотя и являлись еще некоторые черные облака на горизонте человечества, но светлый луч надежды златил уже края оных… Конец нашего века почитали мы концом главнейших бедствий человечества и думали, что в нем последует соединение теории с практикой, умозрения с деятельностью… Где теперь эта утешительная система? Она разрушилась в самом основании; XVIII век кончается и несчастный филантроп меряет двумя шагами могилу свою, чтобы лечь в нее с обманутым, растерзанным сердцем своим и закрыть глаза навеки».

«Кто мог думать, ожидать, предвидеть? Где люди, которых мы любили? где плод наук и мудрости? Век просвещения, я не узнаю тебя; в крови и пламени, среди убийств и разрушений я не узнаю тебя!»

«Мизософы торжествуют. „Вот плоды вашего просвещения, – говорят они, – вот плоды ваших наук; да погибнет философия! – И бедный, лишенный отечества, и бедный, лишенный крова, отца, сына или друга, повторяет: «да, погибнет!“.

«Кровопролитие не может быть вечно. Я уверен, рука, секущая мечом, – утомится; сера и селитра истощатся в недрах земли и громы умолкнут; тишина, рано или поздно, настанет, но какова будет она? – если мертвая, хладная, мрачная?..»

«Иногда несносная грусть теснит мое сердце, иногда упадаю на колена и простираю руки свои к невидимому… Нет ответа! – голова моя клонится к сердцу».

«Вечное движение в одном кругу, вечное повторение, вечная

смена дня с ночью и ночи с днем, капля радостных и море горестных слез… Мой друг, на что жить мне, тебе и всем? На что жили предки наши? На что будет жить потомство?»

«Дух мой уныл, слаб и печален»…

И было от чего…

Наконец в 1801 году при общем вздохе облегчения на престол вступил молодой император Александр I. С этого же момента начинается новая эра и в жизни самого Карамзина. Из его оды на коронацию мы видим, чего он ждал от юного монарха. Вначале он, следуя правилам риторики и пиитики, сравнивал, разумеется, Александра I с ангелом Божьим, восшествие на престол – с наступлением весны и т. д. Но дальше следуют и более существенные мысли, например:

Сколь трудно править самовластно
И небу лишь отчет давать…
Его (т. е. государя) желанью нет препоны
Но он творя благотворит
Он может все, но свято чтит
Его ж премудрости законы.

Еще лучше следующие строки:

Тебе одна любовь прелестна:
Но можно ли рабу любить?
Ему ли благородным быть?
Любовь со страхом не совместна;
Душа свободная одна
Для чувств ее сотворена.
Сколь необузданность ужасна,
Сколь ты, свобода, нам мила
И с пользою царей согласна;
Ты вечной славой их была.
Свобода там, где есть уставы,
Где добрый не боясь живет;
Там рабство, где законов нет,
Где гибнет правый и неправый!

За свои оды Карамзин получил от государя перстень и с этим перстнем вступил на путь покровительствуемой литературы. Через несколько лет мы уже увидим его в звании официального историографа.

В апреле 1801 года Карамзин женился на Елизавете Ивановне

Протасовой. Расположение духа его значительно изменилось к лучшему, что видно из его писем. Он вдруг стал доволен всем: судьбою, обстоятельствами, домашним очагом. «Государь, – пишет он, например, – расположен ко всякому добру, и мы при нем отдохнули. Главное то, что можно жить спокойно». Или: «Мы с Лизанькою живем тихо и смирно; я работаю, сижу дома и оставил почти все свои знакомства, будучи весел и счастлив дома…» Но счастье семейное продолжалось недолго: через год после свадьбы Елизавета Ивановна умерла.

За литературную работу Карамзин принялся с прежнею энергией. Он издал свое «Похвальное слово» императрице Екатерине и «Пантеон Российских авторов». «Похвальное слово» представляет из себя лишь набор громких, звучных фраз, продиктованных неумеренным восторгом. Интересно лишь изложение взглядов императрицы на «самодержавство».

«Самодержавство, – читаем мы, – разрушается, когда Государи думают, что им надобно изъявлять власть свою не следованием порядку вещей, а переменою оного, и когда они собственные мечты уважают более законов. Самое высшее искусство Монарха состоит в том, чтобы знать, в каких случаях должно употребить власть свою: ибо благополучие самодержавия есть отчасти кроткое и снисходительное правление. Надобно, чтобы Государь только ободрял и чтобы одни законы угрожали. Несчастливо то государство, в котором никто не дерзает представить своего опасения в рассуждении будущего, не дерзает свободно объявить своего мнения».

Очевидно, Карамзин имел очень многое против абсолютизма, «не признающего даже законов собственной своей премудрости». Его «Похвальное слово» являлось в то же время как бы нравоучением для юного монарха, от которого все ждали, что он восстановит «златой век Екатерины». Приводя затем слова императрицы: «Мы думаем и за славу себе вменяем сказать, что мы живем для нашего народа», Карамзин с неудержимым пафосом восклицает: «Я верю своему сердцу; ваше, конечно, то же чувствует… Сограждане, сердце мое трепещет от восторга: удивление и благодарность производят его. Я лобызаю державную руку, которая под божественным вдохновением души начертала сии священные строки. Какой монарх на троне дерзнул так, – дерзнул объявить своему народу, что слава и власть Венценосца должны быть подчинены благу народному, что не подданные существуют для монархов, а монархи – для подданных». В чем же заключается благо народное? *«Дайте,* – говорит Карамзин, – *сначала человеку в каждом гражданском обществе находить то счастье, для которого Всевышний сотворил*

людей, ибо главным корнем злодеяний бывает несчастие. Но чтобы люди умели наслаждаться и были бы довольными во всяком состоянии мудрого политического общества, то просветите их».

Первая подчеркнутая нами половина приведенной фразы прекрасна и справедлива, хотя и не представляет ничего особенного среди того либерального брожения, которое овладело русским обществом при вступлении на престол Александра I, любимого внука Екатерины Великой. Будущий официальный историограф искренно примкнул к этому брожению – не надолго, впрочем, пока в нем не изгладилось воспоминание об унизительной феруле царствования Павла I.

За «Похвальное слово» Карамзин получил табакерку, осыпанную бриллиантами; в общем уже – два перстня и табакерка.

При новых веяниях изменилась и цензура, перестала быть «черным медведем, стоящим на дороге». Книгопродавцы и типографщики предложили Карамзину взяться опять за издание журнала. Он согласился, и таким образом появился «Вестник Европы». Программа была очень интересна.

«Немногие, – писал Карамзин в предуведомлении, – получают иностранные журналы, а многие хотят знать, *что* и *как* пишут в Европе: *«Вестник»* может удовлетворять сему любопытству, и притом с некоторою пользою для языка и вкуса. Нам приятно думать, что в Грузии и в Сибири читают самые те пиесы, которые (двумя или тремя месяцами прежде) занимали парижскую и лондонскую публику. Сверх того в *«Вестнике»* будут и русские сочинения в стихах и прозе; но издатель желает, чтобы они могли без стыда для нашей литературы мешаться с произведениями иностранных авторов».

В сущности «Вестник Европы» был первым на русском языке обозрением иностранной жизни. Его двухнедельные обозрения заключали самый разнообразный материал. Здесь читатель узнавал о Бонапарте и Питте, о замыслах французского правительства, об ошибках союзников, об учреждении ордена Почетного легиона и т. д. Обозрения были живые и интересные, как и все, что выходило из-под пера Карамзина.

Второе место в журнале занимали внутренние дела, разумеется в пределах, дозволенных цензурой. Гласности в нашем смысле слова тогда не существовало, и все, о чем мечтал даже такой смелый человек, как Карамзин, было не более как право подавать докладные записки государю.

В «Вестнике же Европы» появилось немало исторических и историко-литературных опытов, занимательных и интересных всегда и всегда же неглубоких.

Однако, несмотря на успех, Карамзин расстался с журналом очень скоро – уже в 1803 году. Его слабые глаза не выдерживали напряженной работы, постоянного чтения корректур и рукописей. «Вестник Европы» прекратился и опять очистилось место для «Невинного развлечения» или «Что-нибудь от безделья на досуге» и т. п. журналам, нищенские заглавия которых достаточно говорят о их содержании.

Оставляя журналистику и уже *навсегда,* Карамзин успел подготовить себе почву для создания важнейшего труда своей жизни «Истории государства Российского». Произошло это следующим образом.

28 сентября 1803 года он, посоветовавшись предварительно с другом своим И.И. Дмитриевым, отправил на имя товарища министра народного просвещения письмо, в котором просил о назначении себя государственным историографом. Письмо, между прочим, заключало следующие строки:

> «Будучи весьма небогат, я издавал журнал с тем намерением, чтобы принужденною работою пяти или шести лет купить независимость, возможность работать свободно и писать единственно для славы – одним словом, сочинять „Русскую Историю“, которая с некоторого времени занимает всю душу мою. Теперь слабые глаза мои не дозволяют мне трудиться по вечерам и принуждают меня отказаться от *«Вестника». Могу* и хочу писать Историю, которая не требует поспешной и срочной работы; но еще не имею способа жить без большой нужды. С журналом я лишаюсь 6 тысяч рублей доходу. Если вы думаете, Милостивый Государь, что Правительство может иметь некоторое уважение к человеку, который способствовал успехам языка и вкуса, заслужил лестное благоволение российской публики, и которого безделки, напечатанные на разных языках Европы, удостоились хорошего отзыва славных иностранных литераторов, то нельзя ли при случае доложить Императору о моем положении и ревностном желании написать Историю, не варварскую и не постыдную для его царствования? Во Франции, богатой талантами, сделали некогда Мармонтеля *историографом* и давали ему пенсию, хотя он и не писал Истории: у нас, в России, как вам известно, немного истинных авторов. Если галиматья, под именем *«Корифея»,* печатается на счет казны, если перевод Анахарсиса удостоился вспоможения от Правительства, то для чего же, казалось

> бы, не поддержать автора, уже известного в Европе, трудолюбивого и пылающего ревностию ко славе отечества? Хочу не избытка, а только способа прожить пять или шесть лет: ибо в это время надеюсь управиться с Историею. И тогда я мог бы отказаться от пенсии: написанная История и публика не оставили бы меня в нужде. Смею думать, что я трудом своим заслужил профессорское жалованье, которое предлагали мне дерптские кураторы, но вместе с должностию неблагоприятною для таланта».

Это письмо говорит нам прежде всего о том, что скромность не входила в число добродетелей Карамзина, а затем – что будущий историограф имел довольно смутное представление о предстоявшем ему деле. Он, как видно, рассчитывал управиться с историей в шесть лет, – вещь невозможная и даже наивная.

Государь лично знал Карамзина, и так как мысль об официальной истории не представляла ничего нового, то и дал свое согласие, приказав производить из собственных сумм выдачу историографу по две тысячи рублей в год. Благодаря этому распоряжению, жизнь Карамзина совершенно изменилась. Начинается вторая ее половина, далеко не похожая на первую. Последние следы юности, юношеских грез, стремлений, надежд исчезают. Независимый литератор становится придворным историографом, свободный журналист – вельможей, и не только извне, но вельможей до мозга костей, свойственными чину и звездам взглядами. Грустно, а ничего не поделаешь: нам приходится распроститься с добрым мечтателем, чувствительным автором повестей, порывистым работником, наделенным, однако, «любезной склонностью к меланхолии», и вступить в кабинет государственного историографа, где нам придется услышать вещи, хотя и высказанные с прежним красноречием и прежним приветливым видом, но уже другим тоном и иного сорта…

Прервем, однако, наше изложение и выясним положение русской истории до того момента, когда за нее взялся Карамзин. Это потребует от нас отдельной главы.

Глава VI

Русская историческая наука до Карамзина

Пасхалии, хронографы, летописи и т. п. я оставлю в стороне, потому что все это не история, а лишь исторические материалы. Нам приходится поэтому начать с «Синопсиса», или «обозрения» – первой попытки осмыслить прошлое и представить его в связном изложении.

Первое издание «Синопсиса» относится еще к 1674 году, написан же он значительно раньше. Остовом его является история Киева, к чему впоследствии были прибавлены некоторые эпизоды из жизни северо-восточной Руси. «Синопсис» издавался и переиздавался более пяти раз и вплоть до нашего века пользовался популярностью. Его содержание, несмотря на массу подробностей о построении церквей, о вкладах в монастыри и т. п., во многих отношениях могло интересовать малообразованного, но любознательного читателя. В первых же главах решается вопрос о происхождении русского народа, причем генеалогия его возводится, разумеется, вплоть до вавилонского столпотворения. Оказывается, что «Мосох, шестой сын Иафета, внук Ноя, через 131 год после потопа отправился из Вавилона со своим племенем и поселился на берегах Черного моря. От Мосоха произошли „москвичи“. Откуда же прозвание руссов? Автор „Синопсиса“ не затрудняется и в данном случае, и опять дает ответ очень приятный для национального самолюбия. Слово „руссы“ производит он от глагола „расширяться, распространяться“ и уверяет, что народ этот „страшен и славен всему свету бысть, яко вси ветхий и достоверные летописцы свидетельствуют“. В том же льстивом тоне описаны княжения Ольги, Владимира Святого, который назван уже самодержцем. Особенно подробно рассказано крещение Руси, и этот рассказ является центром всей книги. Написана она, как видно, в строго православном духе, а ее генеалогия, производящая нас от Мосоха и Ноя, очень нравилась читателям старого времени, вызывая в них патриотическое одушевление. „Ярко освещено было, – говорил Милюков, – начало истории и в нем всего отчетливее выделялось крещение Руси. После Владимира Святого запоминался Мономах с его регалиями, крепко врезался в память торжественный момент первой победы над татарами, для которого рассказчик не пожалел красок. Выводов, цельного взгляда, системы русской истории тут еще нет, но в памяти

читателя остаются четыре имени и четыре картины: две мрачные – язычество и татарское нашествие, две торжественные – крещение и Куликовская битва. И по объему эти отделы составляют целую половину книги. Затем у обыкновенного читателя оставалось неясное воспоминание о путанице имен в остальной половине: этнографических имен в начале, княжеских имен в середине, имен наместников киевских в конце; этот материал не стоял ни в какой общей связи и забывался сам собою, как ни для чего не пригодный".

Изложение «Синопсиса» доведено до присоединения Киева к Москве, – события, в глазах составителя, огромной важности.

В XVIII веке мы видим перед собой целый ряд историков, половина которых русские, половина немцы. Из этих последних на первом плане стоят Байер, Миллер и знаменитый Шлецер, – первый человек, заслуживающий имени историка в строгом смысле слова. Отличительной же чертой как русских, так и немцев было то, что все они занимали официальное положение, были на службе у государства и находились под его контролем. Далеко не всякий факт считался «приличным к сочинению истории». Сомневаться, например, в том, что апостол Андрей крестил славян, было неправильно; это значило, как сообщили Татищеву, опровергать православную веру и закон. Производить руссов не от Руса, а от норманнов одинаково было неприлично: это значило – представлять русских подлым народом и опускать случай к похвале славянского народа. Даже просто перепечатывать летописи было неудобно, потому что «находится немалое число в оных летописях лжебасней, измышлений и т. д.».

Легко себе представить, как дышалось историкам при такой феруле. Шлецер, например, не выдержал и уехал к себе в Германию, чтобы там на свободе изучать своего излюбленного Нестора. В России даже ему – члену Академии – делать это оказывалось невозможным.

Из русских людей на поприще сочинения истории особенно заметны Татищев, Ломоносов, Болтин и Щербатов. О каждом из них нам надо сказать несколько слов.

Татищев, один из самых типичных представителей петровского поколения, взялся за историю совершенно случайно, по поручению Брюса. «Хотя, – признается он, – я по скудости способных к тому (т. е. к сочинению истории) наук и необходимо нужных известий осмелиться не находил себя в состоянии, но ему (Брюсу), яко командиру и благодетелю, отказать не мог. Оное в 1719 г. от него принял, имея, что географию гораздо легче, нежели историю сочинять, тотчас по предписанному от него плану оную начал». Географические занятия завели, однако,

Татищева очень далеко – в самые летописи. Тот же командир и благодетель Брюс разыскал для него список Нестора, который пришлось сравнивать с другими. Работа предстояла кропотливая, долгая, но Татищев, несмотря на службу, постоянные разъезды и собственное хозяйство, не испугался ее. Он понимал ее полезность, а для него, как истого ученика Петра Великого, выше полезного не было на свете ничего. Через двадцать лет был готов знаменитый свод летописей с примечаниями, который Татищев дополнял и отделывал вплоть до своей смерти. «Неподготовленный к какому-нибудь специальному отделу, Татищев, – говорит Милюков, – тем свободнее схватывает целое и всюду вносит в объяснение прошлого свой личный жизненный опыт: какой-нибудь хорошо знакомый ему обычай судейской практики или свежее воспоминание о нравах XVII века, концу которого принадлежит его детство и юношество, дают ему возможность понять жизненный смысл нашего московского законодательства, личное знакомство с инородцами уясняет ему нашу древнюю этнографию, а в их живом языке он ищет объяснения древних имен и географических названий».

Татищев в смысле черной, подготовительной работы сделал очень много: его примечания не утеряли своей цены и поныне. Но, разумеется, его труд – не история, а лишь подготовление к ней. Время для истории должно было наступить еще очень не скоро.

После Татищева на том же поприще испробовал свои силы Ломоносов, так как государыня Елизавета Петровна пожелала видеть историю, его «штилем написанную». Задача сводилась главным образом к красоте описания и восхвалению прошлого, чтобы «всяк, кто увидит в российских преданиях равные дела и героев, греческим и римским подобных, не имел бы основания унижать нас перед оными». В результате появилось нечто вроде героической поэмы, надутой и неискренней, но в выдержанном высоком штиле. О достоверности Ломоносов не заботился, и надо удивляться, как это он еще сравнительно мало переврал фактов.

Все недостатки ломоносовских приемов были доведены до крайности Эмином, личность которого положительно интересна. Вот что, между прочим, говорит о нем Карамзин:

> «Самый любопытный из романов г-на Эмина есть собственная жизнь его, как он рассказывал ее своим приятелям, а самой неудачной – Российская его история. Он родился в Польше, был воспитан иезуитом, странствовал с ним по Европе и Азии, неосторожно заглянул в гарем турецкий, для спасения жизни своей

принял магометанскую веру, служил янычаром, тихонько уехал из Константинополя в Лондон, явился там к нашему министру, снова крестился, приехал в Петербург и сделался русским автором. – Вот богатая материя для шести или семи томов! Сочинив *«Мирамонда», «Фемистокла», «Эрнеста и Дораву», «Описание Турецкой Империи», «Путь к спасению»,* он издавал журнал под именем *«Адской Почты»* и наконец увенчал свои творения *«Российскою Историею»,* в которой ссылается на «Полибиевы Известия о славянах», на *Ксенофонтову «Скифскую Историю»* и множество других книг, никому в мире не известных. Ученый и славный Шлецер всего более удивляется тому, что Академия напечатала ее в своей типографии. – Впрочем, г-н Эмин неоспоримо имел остроумие и плодовитое воображение; знал, по его уверению, более десяти языков; хотя выучился по-русски уже в средних летах, однако ж в слоге его редко приметен иностранец».

Более бесцеремонного историографа, вероятно, не было на земле. Эмин ссылается на несуществующие источники, развязно бранит не только Байера, а даже самого Нестора, но врет красиво.

Чтобы дать читателю понятие о том, как писалась у нас придворная история, г-н Милюков приводит рассказ Ломоносова и Эмина о мщении Ольги.

Ломоносов:

> «Веселящимся и даже до отягощения упившимся древлянам казалось, что уже в Киеве повелевают всем странам российским и в буйстве поносили Игоря перед супругой его всякими хульными словами. Внезапно избранные проводники Ольгины, по данному знаку, с обнаженным оружием ударили на пьяных; надежду и наглость их пресекли смертью».

Эмин:

> «Яко разъяренные львы, которые, долгое время не имея пищи, нашед какого-либо зверя, в малые онаго терзают частицы, так киевцы, долгое время слушая древлян, поносящих бывшего их государя имя, и зато отомстить времени ожидая, с чрезмерною на них бросились яростью и в мельчайшие мечами своими их рассекали частицы. Ольга, пока взошед на могилу своего супруга, прослезясь, сии молвила слова: „приими,

любезный супруг, сию жертву и не думай, что она последняя. Сколько сил моих будет, стараться не премину о конечном убийце твоих разорений“.

Подобных мест можно было бы привести сколько угодно, но и по одному читатель видит, в чем дело. Не надо думать, однако, что героические поэмы, называвшиеся «российской историей», были лишены идейного содержания. Напротив, все они проникнуты одной и той же вполне определенной идеей, – именно, что русский народ велик и что величие его создано самодержавством. Ломоносов и Эмин видели самодержцев уже в лице первых князей, так же как и Екатерина II, называвшая Владимира «единодержавным».

Переходим теперь к Щербатову и Болтину, труды которых заслуживают особенного нашего внимания.

Щербатов, князь и важный чиновник, приобрел довольно грустную репутацию своей упорной защитой крепостного права в комиссии уложения. Чистокровный дворянин, он на все смотрел прежде всего с точки зрения дворянских интересов, что, впрочем, не мешало ему быть человеком умным и проницательным. Рекомендованный Екатерине Миллером для сочинения истории, он во второй половине шестидесятых годов принялся за свой труд, к которому отчасти был подготовлен уже и раньше изучением экономического положения России. Императрица разрешила ему брать нужные ему бумаги из различных библиотек, но, разумеется, свободного доступа во все архивы не открыла. Работал он очень быстро и в четыре-пять лет довел уже свою историю до нашествия татар. В то же время он занимался изданием различных документов, относящихся главным образом к царствованию Петра Великого. Особенную похвалу историков вызывает III том его труда, обработанный на основании архивных материалов. «Это, – пишет г-н Милюков, – был уже не сводный текст летописи, как „Российская История“ Татищева, не литературное произведение на мотивы русской истории, как история Ломоносова и его последователей, не учебная книга по русской истории, как „Краткий Летописец“ Ломоносова, – это был первый опыт связного и полного прагматического изложения русской истории, основанный на всех главнейших источниках, сохранившихся от нашего прошлого».

Щербатов, в сущности, свернул на ту дорогу, по которой раньше шел Татищев. Он оставил бубны и литавры Ломоносова, перестал выбивать трели на историческом барабане, а занялся делом более полезным, хотя и не таким заметным, а именно: собиранием материала и установлением связи в груде

летописных фактов. Совершенно естественно поэтому, что публика его не читала, считая скучным, что справедливо. Хотя изредка Щербатов решается даже философствовать и постигать мотивы поступков, совершенных тем или другим историческим лицом. Сплошного ряда героев и героинь у него нет: напротив, даже он гораздо более склонен видеть в прошлом проявление эгоизма, чем добродетели: «Хотя, – говорит он, например, – конечно, должность (т. е. долг) всякого государя есть наиболее всего пользу и спокойствие своих народов наблюдать, но, к несчастию рода человеческого, история света нам часто показывает, что благо государства был только вид, прямая же причина деяний – или славолюбие, или собственное какое пристрастие государей». Это уже значительный шаг вперед по сравнению с героическими поэмами.

Гораздо талантливее Щербатова является его соперник и критик Болтин, дворянин, чиновник, помещик и любитель русской истории. В печати он выступил при следующих обстоятельствах: «От 1783 г. до 1792 г. печаталась шеститомная „Histoire physyue, morale, civile et politique de la Russie ancienne et moderne“[2] Леклерка. Автор, бывший домовой врач гетмана Разумовского, весьма плодовитый писатель по самым разнообразным отраслям знания, находился в России в 1759 и в 1769—75 годах. Задумав уже тогда писать о русской истории, он обратился к некоему Сабакину, который с помощью двух подведомственных чиновников сделал для Леклерка обширные извлечения из рукописей различных архивов и синодальной библиотеки и перевел эти извлечения на французский язык. Затем он представился князю Щербатову как будущий сочинитель русской истории и от него получал точное «резюме национальной истории» от Рюрика до Федора Ивановича, проспект для истории русского законодательства и материалы по истории искусств и дворянства в России. Наконец, он очень сильно воспользовался «Опытом исторического словаря о российских писателях» Новикова. С этим багажом и при почти полном незнании русского языка, но с твердой уверенностью в свой литературный талант, Леклерк принялся за работу. К России он отнесся жестоко. Россия для него – страна невежества и деспотизма, народ пребывает в состоянии варварства, рабства и суеверия. «Государи, – пишет Леклерк, – могут все, что хотят, когда они благое в виду имеют; довольно им только пожелать, чтобы их государство было цветущим, а народы – блаженными», но до сих пор они желали только держать народ для собственного спокойствия в состоянии первобытной дикости и угнетения. В результате, «в России нет достаточных побуждений к размножению населения; количество

жителей не соответствует громадности страны, и все средства народа истощаются на потребности внешней защиты».

Патриотизм Болтина был задет, и он принялся возражать Леклерку, не оставляя без примечания, поправки или опровержения ни одной его фразы. «Значение труда Болтина заключается прежде всего в его общей точке зрения на исторические явления, во-вторых – в приложении этой точки зрения к объяснению русского исторического процесса», – говорит Милюков.

Общая Точка зрения Болтина была по существу противоположна отрицанию Леклерка. Там, где Леклерк находит одно отсутствие или злоупотребление разума, Болтин предполагает действие исторического закона. Действие это всегда и везде одинаково: «правила природы повсюду суть однообразны; во всех временах и во всех местах человек, находясь в одинаковых обстоятельствах, имел одинаковые нравы, сходные мнения и являлся под одинаковым видом». Значительную роль в жизни народа Болтин отводит климату. «Главное влияние, – говорит он, – на человеческие нравы, на качества сердца и души имеет климат, прочие же побочные обстоятельства, как форма правления, воспитание и пр., частью только содействуют ему или действиям его принятие творят».

В трудах Болтина мы имеем перед собой несомненную попытку философствования над историей, хотя попытку очень робкую и как бы боящуюся иметь дело с большим кругом явлений. Отдельные замечания Болтина надо признать очень ценными, особенно для его времени. Сопоставляя Россию с Европой, он указывает на несходство их истории, объясняя его различием «физических местоположений». Те же условия создали отличия и в нравах, в складе народного характера; ход русской истории влиял в том же направлении: раздробление на части и татарское иго задержали увеличение народонаселения, то же самое разделение народа на удельные княжения произвело «различие в нравах, обычаях и богочтении». Но в России этой внутренней областной розни было гораздо менее, чем на Западе; менее было и таких чувствительных и скорых перемен, как в Европе; нравы, платье, язык, название людей и страны остались те же, какие были прежде, исключая малые некоторые перемены в общежительных обрядах, поверьях и в нескольких словах языка, кои мы заимствовали от татар. После объединения Руси «и нравы, и обычаи стали почти сходными», «народонаселение стало быстро увеличиваться. С переменами в условиях жизни изменяются и нравы, нужно только терпение и время».

Терпение и время – таковы принципы Болтина, которые он

педантично и аккуратно проводит в своих примечаниях сначала на Леклерка, затем на Щербатова.

Что же, спрашивается, теперь мог найти Карамзин у своих предшественников? Немцы, особенно Шлецер, должны были научить его приемам строгой исторической критики. Татищев завещал ему свод летописей, Щербатов – массу полуобработанного материала, Болтин – попытку философски изложить историю, хотя только в частностях. Это не много, но кое-что. Тем удивительнее, что Карамзин, как увидим, свернул с прямого научного пути и, вернувшись к преданиям Ломоносова, поставил себе прежде всего задачей раскрасить историю высоким «штилем» и неумолкаемой мелодией «Гром победы раздавайся»…

Глава VII

«История государства Российского»

Обстановка, среди которой пришлось работать Карамзину, была как нельзя более подходящей. Материально он был обеспечен и мог не думать о завтрашнем дне; вторая его жена, Катерина Андреевна, несмотря на свою молодость, не только не мешала, а даже помогала ему в его занятиях; его здоровье никогда не бывало особенно крепким, не грозило, однако, никакими серьезными препятствиями к труду. Целые годы прошли незаметно в разборе рукописей, изучении архивного материала, писании и корректурах.

Лето 1804 года и следующие он провел в Остафьеве – имении князя Вяземского, отца своей жены. Погодин, посетивший это, как он выражается, святилище русской истории, подробно описывает обстановку, окружавшую историографа. Несколькими строками из его описания мы воспользуемся сейчас же.

> «Огромный барский дом в несколько этажей возвышается на пригорке; внизу за луговиною блещет обширный проточный пруд; в стороне от него – сельская церковь, осененная густыми липами. По другую сторону дома – обширный тенистый сад. Кабинет Карамзина помещается в верхнем этаже, в углу, с окнами, обращенными к саду. Ход был к нему по особенной лестнице.
>
> В кабинете – голые штукатуренные стены, выкрашенные белою краской, широкий сосновый стол, в переднем углу под окнами стоящий, ничем не прикрытый деревянный стул, несколько козлов, с наложенными досками, на которых раскладены рукописи, книги, тетради, бумаги; не было ни одного шкапа, ни кресел, ни диванов, ни этажерок, ни пюпитров, ни ковров, ни подушек. Несколько ветхих стульев около стены в беспорядке —
>
> Все утвари простые,
> Вся рухлая скудель:
> Скудель, но мне она дороже,
> Чем бархатное ложе
> И вазы богачей.

На темном полу, покрытом пылью и сором, сверкали мне в глаза бриллианты, изумруды, яхонты, крупицы, упавшие от трапезы вдохновенного писателя!

Вставал Карамзин обыкновенно, по свидетельству князя П. А. Вяземского в ответ на мои вопросы, часу в 9 утра, тотчас после делал прогулку пешком или верхом, во всякое время года и во всякую погоду. Прогулка продолжалась час. Возвратясь с прогулки, завтракал он с семейством, выкуривал трубку турецкого табаку и тотчас после уходил в свой кабинет и садился за работу вплоть до самого обеда, т. е. до 3-х или до 4-х часов. Помню одно время, – пишет князь Вяземский, – когда он, еще при отце моем, с нами даже не обедывал, а обедал часом позднее, чтобы иметь более часов для своих занятий. Это было в первый год, что он принялся за «Историю». Во время работы отдохновений у него не было, и утро его исключительно принадлежало «Истории» и было ненарушимо и неприкосновенно. В эти часы ничто так не сердило и не огорчало его, как посещение, от которого он не мог избавиться. Но эти посещения были очень редки. В кабинете жена его часто сиживала за работою или за книгою, а дети играли, а иногда и шумели. Он, бывало, взглянет на них, улыбаясь, скажет слово и опять примется писать».

О ходе своей работы Карамзин довольно часто давал отчет Муравьеву, к нему же он обращался с просьбами о пособиях, книгах, чинах. Как историограф, он был немедленно же произведен в надворные советники, к чему в это время он уже не проявлял равнодушия.

Вступление досталось ему с большим трудом. «Надлежало, – рассказывает он, – сообразить все написанное греками и римлянами о наших странах от Геродота до Аммиана Марцеллина, в написанное византийскими историками о славянах и других народах, которых история имеет отношение к российской».

Радостей ученого Карамзину пришлось испытать много. Случались счастливые находки, например, Лаврентьевский список летописи, удавалось постоянно исправлять неточности у Щербатова и Болтина. Но, разумеется, было немало и разочарований. Главное заключалось в том, что работа затягивалась и оказывалась неизмеримо труднее, чем предполагал Карамзин. Он надеялся в шесть лет дойти до

воцарения Романовых, а не дошел до этого события, как увидим, и в двадцать. Находки и открытия часто заставляли его совершенно переделывать написанное, глаза мешали работать иногда по целым неделям. Несколько отрывков из писем Карамзина к брату введут нас в его тихую труженическую жизнь, не лишенную своеобразной поэзии:

> *От 21 января 1805 г.*... «Я продолжаю работать, и думаю, что мне не отделаться от Киева: надобно будет съездить».
>
> *От 26 марта.* «Работа моя идет медленно. Пишу второй том, еще о временах Рюрика. Если Бог продолжит ко мне свою милость, то к зиме могу начать третий. Несмотря на то, что многими книгами пользуюсь даром, я должен еще издерживать немало денег на покупку иностранных книг».
>
> *Июня 13*... «Теперь мы живем в деревне, где, по своему обыкновению, я много работаю и читаю, хотя не могу быть совершенно доволен своим здоровьем».
>
> *Сентября 28*... «Вообразите, что с исхода июля по сейчас я еще не принимался за перо для продолжения своей „Истории“, и теперь еще не пишу. Это мне прискорбно; но я радуюсь своим выздоровлением, как ребенок. В некоторые минуты болезни казалось мне, что я умру, и для того, несмотря на слабость, разобрал все книги и бумаги государственные, взятые мною из разных мест, и надписал, что куда возвратить. Ныне гораздо приятнее для меня снова разобрать их. Жизнь мила, когда человек счастлив домашними и умеет заниматься без скуки».
>
> *Ноября 20.* «Болезнь послужила мне, кажется, к добру. Теперь я, слава Богу, очень доволен своим здоровьем и, желая сохранить его, работаю менее».
>
> «Вы желаете знать, любезнейший брат, как я далек в своей „Истории“: оканчиваю II том и дошел до введения Христианской веры».

Через три года Карамзин добрался до нашествия татар, дальше работа пошла легче и самый материал был интереснее и легче подвергался литературной обработке, хотя география и хронология продолжали требовать усиленного и кропотливого труда.

Ступивши раз на путь почестей и карьеры, Карамзин уже не сходил с него до самой смерти. В 1809 году он был представлен Великой Княгине Екатерине Павловне и стал пользоваться

особенным ее расположением. Чтобы иметь его поближе к себе, она предложила даже ему тверское губернаторство, но он отказался, ответив, что будет или дурным историком, или дурным губернатором. Милости двора, ордена и ленты, получаемые Карамзиным, возбуждали зависть. Дело не обходилось без доносов. Вот образчик этой мерзости, характерной прежде всего потому, что даже такой человек, как Карамзин, не мог от нее отделаться:

> «Имея столь верный случай, решился писать к В.С… и о том, чего бы не хотел вверить почте. Ревнуя о едином благе, стремясь к единой цели, не могу равнодушно глядеть на распространяющееся у нас уважение к сочинениям г-на Карамзина; вы знаете, что оные исполнены вольнодумческого и якобинского яда. Но его последователи и одобрители подняли теперь еще более голову, ибо его сочинения одобрены пожалованием ему ордена и рескриптом, его сопровождавшим. О сем надобно очень подумать, буде не для нас, то для потомства. Государь не знает, какой гибельный яд в сочинениях Карамзина кроется. Оные сделались классическими. Как могу то воспретить, когда оные рескриптом торжественно одобрены. Карамзин явно проповедует безбожие и безначалие. Не орден ему надобно бы дать, а давно бы пора его запереть; не хвалить его сочинения, а надобно бы их сжечь. Вы не по имени Министр Просвещения, вы – муж ведающий, что есть истинное просвещение, вы – орудие Божие, озаренное внутренним светом и подкрепляемое силою свыше; вас без всякого искания сам Господь призвал на дело его и на распространение его света; в плане неисповедимых судеб его вы должны быть органом его истины, вопиющим противу козней лукавого и его проклятых орудий. И вы, и я дадим ответы пред судом Божьим, когда не ополчимся противу сего яда, во тьме пресмыкающегося, и не поставим оплота сей тлетворной воде, всякое благочестие потопить угрожающей. Ваше есть дело открыть Государю глаза и показать Карамзина во всей его гнусной наготе, яко врага Божия, и врага всякого блага и яко орудие тьмы.
>
> Я должен сие к вам написать, дабы не иметь укоризны на совести; если бы я не был Попечитель, я бы вздыхал, молился и молчал, но уверен будучи, что Богу дам ответ за вверенное мне стадо, как я умолчу пред

вами, и начальником моим, и благодетелем. Карамзина превозносят, боготворят! Во всем Университете, в пансионе читают, знают наизусть, что из этого будет? Подумайте и полечитесь о сем. *Он целит не менее, как в Сиесы или в первые Консулы,* – это здесь все знают и все слышат».

Подчеркнутая фраза особенно мила!

В 1812 году Карамзин вместе с Россией видел пожар и разорение Москвы. Несмотря на наши поражения, он предвидел падение Наполеона, и предчувствие не обмануло его. «У Наполеона, – говорит он, – все движется страхом, насилием, отчаянием; у нас все дышит преданностью, любовью, единодушием». Там сбор народов, им угнетаемых и в душе его ненавидящих, здесь – одни русские. Мы дома, он как бы отрезан от Франции. Сегодня союзники Наполеона за него, а завтра они все будут за нас…»

В 1813 году Карамзин вновь взялся за историю и наконец в 1816 году, закончив первые 8 томов, приступил к печатанию их.

Хороша ли история Карамзина? Оправдывает ли она вековую (почти) славу, которой пользуется автор? Посмотрим, прежде всего, как была встречена история современниками.

Двор был доволен, Карамзин получил аудиенцию у Государя и «был осыпан ласками и милостями». Вдовствующая императрица Мария Федоровна прислала ему перстень со своим портретом. Королева Вюртембергская написала ему лестное письмо. Высшее общество было заинтересовано. «Я, – рассказывает Стурдза, – встретил в первый раз Карамзина в гостиной Софьи Петровны Свечиной; он читал нам вслух блистательный отрывок из своей „Истории“, а именно сказание о Дмитрии Донском; я внимал ему в толпе слушателей, отчасти любопытных, отчасти не доверявших его учености и таланту. Сквозь легкомыслие, вежливое лицемерие некоторых проглядывало глубокое, иногда забавное изумление. Эти домашние чтения повторялись во многих почетных семьях; везде сыпались на автора похвалы, которые он принимал без услады и восторга, просто, с неподражаемым добродушием».

Большая публика раскупила 3 тысячи экземпляров «Истории» в 25 дней, несмотря на высокую цену – 45 рублей за экземпляр.

Успех был, по-видимому, полный, однако небольшая интеллигентная часть общества была против «Истории». Один из них, Н. М., например, написал записку, ходившую по рукам и начинавшуюся словами: «История принадлежит народам» – в противоположность заключению Карамзина в посвятительном

письме: «История народа принадлежит Царю». Тогда же по поводу «Истории» начался в миниатюре знаменитый по нынешним временам спор о непротивлении злу. Карамзин писал между прочим: «Но и простой гражданин должен читать „Историю“. Она мирит его с несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках; утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали ужаснейшие, и государство не разрушалось».

Н. М. возражает:

> «Конечно, несовершенство есть неразлучный товарищ всего земного; но история должна ли только мирить нас с несовершенством, должна ли погружать нас в нравственный сон квиетизма? В том ли состоит гражданская добродетель, которую народное бытописание воспламенить обязано? *Не мир, но брань вечная должна существовать между злом и благом;* добродетельные граждане должны быть в вечном союзе против заблуждений и пороков. Не примирение наше с несовершенством, не удовлетворение суетного любопытства, не пища чувствительности, не забавы праздности составляют предмет истории. Она *возжигает соревнование веков, пробуждает душевные силы наши и устремляет к тому совершенству, которое суждено на земле. Священными устами истории праотцы взывают к нам: «Не посрамите земли Русской!»*
>
> Надо согласиться, что все возражения попадали не в бровь, а прямо в глаз. Приводя, например, мнение Карамзина, что «в истории красота повествования и сила есть главное» – он говорит: «Мне кажется, что главное в истории есть *дельность* оной. Смотреть на историю *единственно как на литературное произведение – уничижать оную».* Но ведь дельности-то прежде всего и нет у Карамзина.
>
> Одним из важнейших нравоучений «Истории» Карамзин считал то, что она рассказывает нам, «как искони мятежные страсти волновали гражданское общество и какими способами благотворная власть обуздывала их бурное стремление…»

Смело, но вполне в духе времени увлекавшийся народовластием, Н. М. отвечает:

> «Какой ум может предвидеть и объять волнения общества? Какая рука может управлять их ходом? Кто

дерзнет в высокомерии своем *насильствами* учреждать и самый порядок? Кто противостанет один общему мнению? Мудрый и добродетельный человек не прибегнет в таких обстоятельствах ни к ухищрению, ни к силе. Следуя общему движению, благая душа его будет только направлять оное уроками умеренности и справедливости. Насильственные средства и беззаконны, и гибельны; ибо высшая политика и высшая нравственность – одно и то же. К тому же существа, подвергнутые страстям, вправе ли гнать за оные? Страсти суть необходимые принадлежности человека и орудия Промысла, непостижимого для ограниченного ума нашего. Не ими ли влекутся народы к цели всего человечества? В нравственном, равно как и физическом мире согласие целого основано на борении частей».

Для М. смысл истории – борьба, развитие, стремление к прогрессу, для Карамзина – порядок и благотворное обуздание мятежных страстей.

Пушкин написал на «Историю» эпиграмму:

Послушайте меня, я сказку вам скажу,
Про Игоря и про его жену,
Про Новгород и время золотое,
И наконец про Грозного Царя.
И, бабушка, затеяла пустое:
Докончи нам Илью-богатыря.

Канцлер Румянцев был очень недоволен Карамзиным за то, что тот проводит взгляды «contraires aux idées libérales», т. е. взгляды, противные либеральным идеям.

Нельзя поэтому говорить, что Карамзина не поняли. Напротив, к его труду отнеслись с полною независимостью и прежде всего были недовольны, что он дал историю государства, князей, правительства – не народа. Его риторика подкупала и подчиняла массу, но были люди, искавшие дельности. Карамзин хотел учить людей путем истории любви к добродетели и вселять в них отвращение к пороку. Но не тому хотели учиться у истории передовые его современники: они искали в ней уроков политической и гражданской свободы, а вместо этого Карамзин с воодушевлением методистского пастора говорил им:

«Свободу мы должны завоевать в своем сердце миром, совестью и доверенностью к Провидению.

Свободу дает не Государь, не парламент, а каждый из нас самому себе, с помощью Божией».

Эти проповеди претили многим.

Спросим себя теперь, что мы можем требовать от истории и какую историю можем мы признать удовлетворительной?..

До сих пор с некоторым колебанием решаются ответить утвердительно на вопросы: можно ли назвать наукой изучение исторической жизни человечества? может ли процесс истории по его сущности сделаться предметом обособленной науки?

На это готовы ответить отрицательно, во-первых, те, которые видят в истории лишь более или менее искусный доклад о фактах, какими они были, и не пытаются даже понять совокупности событий, где случайность играет громадную роль, а сложность побуждений так велика, что научные приемы кажутся неприложимыми к точному анализу этих событий; там же, где отказываются от понимания и ограничиваются перечислением, может быть накопление знаний, но, конечно, нет науки.

На поставленные вопросы отрицательный ответ может получиться и из лагеря *романтиков* истории, которые ожидают от последней лишь воскрешения прошлых эпох в их конкретной особенности. Романтизм заключает в себе существенным элементом требование внести во все области жизни и мысли задачи искусства и перестроить ту и другую по типу эстетического творчества. Совершенно понятно, что он поставил истории ту же задачу. Воскрешение прошлого тем полнее достигает совершенства, чем более в воображении писателя обособляется каждая эпоха от того, что ей предшествовало, и от того, что за нею следовало. Оно будет тем совершеннее, чем полнее и нераздельнее сливаются в гармонический образ все элементы эпохи: и полусознательные привычки, и работа критической мысли, и то, что она унаследовала от прошлого, и то, что готовилась передать будущему. Это художественное воскрешение может, наконец, совершиться тем удобнее, чем лучше удается историку-артисту посмотреть на эпоху ее современника, для которого оценка важного и неважного, существенного и второстепенного определяется привычками жизни. Таким образом, может получиться замечательное произведение искусства. Но оно может быть научно лишь помимо воли автора, так как научная задача *понять* эпоху заключает иные требования: именно связь эпохи с прошлым и будущим должна быть понята; необходимо отделить элемент прошлого и будущего, соединенные в ней, необходимо *оценить* ее явления с точки зрения передовых требований того времени, когда живет историк.

Историки-воскресители в своих созданиях, которые могут быть так же бессмертны, как бессмертны все замечательные произведения искусства, дают бесценный материал для истории науки, но она от своих деятелей требует иного. Чего же?

1. Прежде всего строгой критики при пользовании фактами. Без этой почвы исторического знания не существует и не может появиться научной истории.

2. Установление *необходимой* связи и зависимости последующего от предыдущего, с указанием, что именно в данную эпоху является пережитком прошлого и залогом будущего. Пока для какого-нибудь периода более или менее крупное новое общественное явление представляется нам возникшим как бы случайно, поражая своею неожиданностью, до тех пор этот период остается вне научной истории, а принадлежит лишь к области описательного ее подготовления.

3. Отделение существенных элементов развития от несущественных. Вопрос этот решается просто, если допустить, что в истории двигателем развития является мысль человека, перерабатывающая общественные формы сообразно со своими требованиями. Раз нет деятельности мысли – нет истории. Но мысль действует не в пустом пространстве, ее окружают формы общежития, церковное и государственное устройство, экономические условия и т. д. Историк должен изучить эти формы, указать на их отношение к мысли и влияние мысли на них. Что заставило их победить или сойти со сцены? Годятся ли они для осуществления общечеловеческого счастья или нет?

Вот вопросы историка.

Карамзин не ставит себе ни одного из них, не отвечает ни на один из них. Прежде всего он смотрит на историю как на литературное художественное произведение, на своего рода поэму. «Изложение – это главное», – говорит он. Сделавшись историографом, он не изменил своим привычкам журналиста и автора повестей. Он действует на читателя музыкою своих фраз, трогательностью своих описаний. Он рисует, но не убеждает. Возьмите, например, следующее место и посмотрите, как ничтожно содержание громких фраз, наполняющих его:

> «Отселе История наша приемлет достоинство истинно Государственной, описывая уже не бессмысленные драки княжеские, но деяния Царства, приобретающего независимость и величие. Разновластие исчезает с нашим подданством; образуется держава сильная, как бы новая для Европы и Азии, которые, видя оную с удивлением, предлагают ей знаменитое место в

> их системе политической. Уже союзы и войны наши имеют важную цель: каждое особенное предприятие есть следствие главной мысли, устремленной ко благу отечества. Народ еще коснеет в невежестве, в грубости, но правительство уже действует по законам ума просвещенного. Устрояются лучшие воинства, призываются искусства, нужнейшие для успехов ратных и гражданских; посольства великокняжеские спешат ко всем дворам знаменитым, посольства иноземные одно за другим являются в нашей столице. Император, Папа, Короли, Республики, Цари Азиатские приветствуют Монарха Российского, славного победами и завоеваниями от пределов Литвы и Нова-Города до Сибири. Издыхающая Греция отказывает нам остатки своего древнего величия. Италия дает первые плоды рождающихся в ней художеств. Москва украшается великолепными зданиями. Земля открывает свои недра, и мы собственными руками извлекаем из оных металлы драгоценные. Вот содержание блестящей истории Иоанна III, который имел редкое счастие властвовать 43 года и был достоин оного, властвуя для величия и славы России».

По поводу этих строк Погодин умиленно восклицает: «Неужели это не музыка? Какая стройность, полнота, благозвучие, величие и т. д.». Но неужели, спросим мы себя, это история? А ведь подобные места заполняют целые тома…

Истории мысли у Карамзина совершенно нет. Он не пользуется литературными памятниками, он весь поглощен портретной галереей князей и царей, их добродетелью или пороками; он преподает нам уроки нравственности и мотив: «сколь любезна добродетель» – слышен на каждой его странице.

Необходимой связи событий нет у Карамзина. Мудрость правителей – единственная сила, которая создает, регулирует события. По *мудрости* Андрея Боголюбского столица была переведена на север; по *мудрости* Калиты и его потомков создалось Московское государство; по *храбрости* Донского было свергнуто монгольское иго. История обратилась в биографию, биография в большинстве случаев – в оды Пиндара.

Надо удивляться терпению Карамзина, с каким он разбирается среди бесчисленных Всеволодов, Иванов, Мстиславов, не пропуская никого, чтобы не приголубить или не укорить каждого из них. Один является мужественным, другой – храбрым, третий – богобоязненным, потом следуют вероломные,

коварные, чадолюбивые, невоздержанные и т. д.

Все это по преимуществу упражнение в стиле, так как для большинства своих характеристик Карамзин не имел ровно никакого основания. Но такое раскрашивание входило в его программу. «Тацит, Юм, Робертсон, Гиббон – вот образцы, – пишет Карамзин и продолжает: – Говорят, что наша история сама по себе менее других занимательна: не думаю, нужен только ум, вкус, талант. Можно выбрать, одушевить, раскрасить; и читатель удивится, как из Нестора, Никона и пр. могло выйти нечто привлекательное, сильное, достойное внимания не только русских, но и чужестранцев. Родословные князей, их ссоры, междоусобия, набеги половцев – не очень любопытны, соглашаюсь, но зачем наполнять ими целые тома? Что не важно, то сократить, но все черты, которые означают свойства народа русского, характер наших древних героев, отменных людей, происшествия действительно любопытные, надо описать живо, разительно».

Карамзин смотрел на свою работу прежде всего как беллетрист и литератор. Вот и еще одно из любопытных его признаний.

«Галерея наша, – говорил он, – открылась бы Ольгою и Гориславою, а средние времена представили бы нам изображение греческой княжны Софии, супруги князя Иоанна (которой Россия обязана первыми искрами просвещения); матери царя Ивана Васильевича, имевшей слабости, но весьма умной; первой супруги его, прекрасной и любезной Анастасии; Марии Годуновой, которой добродетель обуздывала иногда Бориса в жестокостях его подозрительного характера, и трогательной, невинной Ксении. Правда, что русские летописцы, в которых должно искать материалов для сих биографий, крайне скудны на подробности; однако ж ум внимательный, одаренный *историческою догадкою,* может дополнить недостатки соображением, подобно как ученый любитель древностей, разбирая на каком-нибудь монументе старую греческую надпись по двум буквам… угадывает третью, изглаженную временем, и не ошибается… Новейшая Русская История имеет также своих знаменитых женщин: наименуем из них Наталию Кирилловну… Софию… Екатерину I. Не знаю, дозволит ли политика в наше время философу-историку свободно и торжественно судить царствования Анны и Елисаветы, но умный живописец-автор может в легких чертах представить их личные характеры с хорошей стороны и без лести. Наконец не на одном троне, сочинитель должен искать лиц для исторических портретов: он вспомнит, например, сию графиню Головкину, которая добровольно променяла столицу на Сибирь и год жила в

землянке с мертвым телом супруга. Такое геройство супружеской любви давно бы прославлено было в целом свете, если бы русские умели и любили хвалиться добродетелями русских».

Смысл этих строк ясен: фактов мало, те, которые есть, не особенно интересны, но если «раскрасить» и разгадывать целые подписи по двум уцелевшим буквам, то такую историю не совестно будет показать даже иностранцам.

По поводу указанного излюбленного приема Карамзина у г-на Милюкова вырывается немало жестких слов.

«Итак, – говорит он, – не историческое изучение, не разработка сырого материала истории, а художественный пересказ данных, уже известных, – вот та заманчивая задача, которая рисовалась перед воображением Карамзина до начала работы. „Нет предмета столь бедного, чтобы искусство уже не могло ознаменовать себя приятным для ума образом“, – повторяет Карамзин. Под „бедным предметом“ надо разуметь здесь русскую историю, а приятно ознаменует себя в этом предмете „История государства Российского“.

На самом деле, у Карамзина искусство на каждой странице приятно себя знаменует; что же касается до установления необходимой связи события – то в этом случае дело обстоит далеко не так благополучно. Чтобы не быть голословным, возьмем несколько характерных примеров. Роль народа в «Истории» Карамзина почти такая же, как в патриотических драмах. Народ является на сцену и начинает галдеть без всякого толку. На ступенях крыльца показывается «великий муж», сердце которого пылает любовью к отечеству. Муж произносит несколько слов, и народ с криком: «идем, бежим!» немедленно же устремляется, куда ему указано. Карамзин не только не заинтересовался народом, но даже психология московской толпы, игравшей такую роль при Елене Глинской, Иване Грозном, Федоре Годунове, Лжедмитрии, Шуйском, – разработана у него по-лубочному. А ведь в то время толпа устраивала то и дело суды Линча над нелюбимыми ею людьми. Могущество ее чувствовалось при Михаиле Федоровиче, Алексее, Софии и было уничтожено лишь Петром Великим. Не видеть исторической роли московской толпы в XVI и XVII веках – значит страдать значительною близорукостью. Роль была сыграна, роль большая, серьезная, но у Карамзина везде великие мужи, а толпа только галдит, как в знаменитой сцене избрания Годунова у Пушкина, написанной почти дословно по Карамзину. Наш историограф быстро успокоился на мнении, что славяне смиренномудры и кротки, и отказался приписать им, когда бы то ни было, активную роль в истории.

Без внимания к народу, его поэзии, его религиозным исканиям, без исследования промышленности, торговли и финансов – можно ли установить какую-нибудь необходимую связь между событиями?

Даже как психолог Карамзин делает громадные скачки. Каким образом добродетельный Иван IV его VIII тома становится сразу кровожадным тираном IX? Историк утверждает, что это чудо. Чудеса же, как известно, никакому анализу не подлежат.

Мне кажется, что после сказанного можно признать «Историю» Карамзина почти непригодной для нашего времени. Значительно мягче должны мы будем отнестись к ней, перенесясь за 80 лет назад.

Хотя Карамзин и преследовал главным образом литературные цели, однако чисто научная работа постепенно увлекала и его. Мы уже видели, что он сделал несколько важных открытий и ознакомил науку со многими новыми документами. Он же исправил массу неточностей у своих предшественников.

Вся его важная работа изложена в примечаниях, занимающих добрую треть всего сочинения.

«Нет никакого сомнения, – пишет г-н Милюков, – что Карамзин приступил к своему историческому труду без предварительной специально-исторической подготовки. Тем, чем он стал, как критик и ученый, он сделался уже во время самой работы, и конечно первенствующая роль в этой выучке принадлежит немецкой школе. На первых же порах Карамзин столкнулся с авторитетом Шлецера, ученые приемы которого должны были оказать на него самое решительное влияние. Можно проследить, как совершенствуются технические приемы Карамзина под влиянием немецкого образца, шаг за шагом контролирующего его собственную работу.

Его примечания оставляют вообще несомненно более выгодное впечатление, чем сам текст «Истории», и это объясняется не столько критическим талантом автора, сколько его ученостью. В этом отношении надо отдать справедливость историографу: он усердно хлопотал о подборе новых исторических материалов, в значительной степени обновил фактическое обоснование рассказа и надолго сделал свою «Историю» необходимою для всякого исследователя хрестоматией источников русской истории».

Самая риторика Карамзина, которая так отталкивает нас, принесла долю пользы и заставила раскупить 3 тысячи экземпляров в 25 дней, – факт, до той поры неслыханный.

Но не надо забывать в то же время, что взгляды Карамзина были значительно ниже, старообразнее взглядов многих и многих

его современников. Его взгляды оказываются официальными, и, следовательно, ценность их относительна.

Глава VIII

Гражданские убеждения Карамзина. – Последние годы его жизни

Я уже упоминал выше об отношениях Карамзина к Великой княгине Екатерине Павловне, впоследствии королевы Вюртембергской. По ее просьбе он написал свою знаменитую «Записку о древней и новой России», обсуждение которой заставляет нас вернуться несколько назад, именно к 1811 году. В это время при дворе господствовало еще либеральное настроение, хотя мрачное и злое лицо Аракчеева все чаще и чаще начинало появляться в кабинете государя. Но Сперанский был еще в силе, хотя все его коренные проекты лежали под спудом и составляли предмет лишь платонического внимания. В это-то время Карамзин представил свою «Записку» Великой княгине, а через нее – самому государю.

Есть основание полагать, что Карамзин был только отголоском общего московского мнения о новых и постоянных преобразованиях царствования Александра и редактором стародворянской, противной Сперанскому партии. Взгляды Карамзина в «Записке» на самом деле стародворянские, немного даже славянофильские. С ними стоит ознакомиться поближе.

Заметив, что настоящее бывает следствием прошедшего, Карамзин приглашает императора обратиться к этому прошедшему и посмотреть, какие уроки премудрости преподает оно. Первый урок тот, что уже в девятом и десятом столетиях Россия была самодержавной страной, обильной, великой и славной благодаря крепкой и единой власти князя. Рюрик, Олег, Святослав, Владимир – не князья-дружинники, не предводители смелых ватаг авантюристов, а самодержцы во вкусе XV и XVI столетий. «Они заплатили своим подданным славою и добычею за утрату прежней вольности, бедной и мятежной». Карамзин забывает дружину, забывает, что такой храбрый генерал, как Святослав, уже по самому характеру своему не мог быть *гражданским* царем, и возвращается к точке зрения Ломоносова, Эмина, Екатерины II, которые в каждом Всеволоде, Мстиславе или Изяславе видели чуть ли не византийского императора. усилиями упомянутых первых самодержцев Россия стала не только обширным, но, в сравнении с другими, и *самым образованным государством.* К несчастию, однако, она разделилась. «Открылось жалкое междоусобие малодушных

князей, которые, забыв славу и пользу отечества, резали друг друга и губили народ, чтобы прибавить какой-нибудь ничтожный городок к своему уделу». Попытки восстановить единодержавство были слабы, недружны, и Россия в течение двух веков «терзала собственные недра, пила слезы и кровь собственные». «Удивительно ли, – спрашивает Карамзин, – что при таких обстоятельствах варвары покорили наше отечество?» Положение дошло до того, что, казалось, Россия погибла навеки. Но – *«сделалось чудо.* Городок, едва известный до XIV века, от презрения к его маловажности, возвысил главу и спас отечество – да будет честь и слава Москве! В ее стенах родилась и созрела мысль восстановить единовластие в истерзанной России, и хитрый Иоанн Калита есть родоначальник ее славного воскресения, беспримерного в летописях мира».

Начался процесс собирания земель. Но «глубокомысленная политика князей московских не удовольствовалась собиранием частей в целое: надлежало еще связать их твердо, и единовластие усилить самодержавием, т. е. искоренить все следы прежнего „вольного духа“. Московские князья с успехом выполнили и эту задачу. Что же представляла из себя Россия, завещанная московскими князьями своим преемникам?

«Самодержавие укоренилось; никто, кроме государя, не мог ни судить, ни жаловать – всякая власть была излиянием монаршим. Жизнь, имение зависели от произвола царей, и знаменитейшее в России титло было уже не княжеское, не боярское, но титло *слуги царева.* Народ, избавленный князьми московскими от бедствий внутреннего междоусобия и внешнего ига, не жалел о своих древних вечах и сановниках, которые умеряли власть государеву; довольный действием не спорил о правах; одни бояре, столь некогда величавые в удельных господствах, роптали на строгость самодержавия; но бегство или казнь их свидетельствовала бодрость оного. Наконец царь сделался для всех Россиян земным Богом».

Преступление Бориса задержало торжественное развитие самодержавства и повело к ужасам Смутного времени. Эти ужасы были тем «ужаснее», что «самовольные управы народа бывают для гражданских обществ вреднее личных несправедливостей или заблуждений государя».

Для вторичного спасения отечества нужно было новое чудо, и оно явилось сначала в образе Минина и Пожарского, потом – Михаила Федоровича. Самодержавие, уничтожив врагов внешних и внутренних, принялось за устройство государства. Для него, значительно уже выросшего, потребовались новые формы и большая часть их была заимствована у Европы: «Вообще, –

говорит Карамзин, – царствование Романовых – Михаила, Алексея, Федора – способствовало сближению россиян с Европою, как в гражданских учреждениях, так и в нравах, от частых государственных сношений с ее дворами, от принятия в нашу службу многих иноземцев и поселения других в Москве. Еще предки наши усердно следовали своим обычаям; но пример начинал действовать, и явная польза, явное превосходство одерживали верх над старым навыком в воинских уставах, в системе дипломатической, в образе воспитания или учения, в самом светском обхождении. *Сие изменение делалось тихо, постепенно, едва заметно, как естественное возрастание без порывов и насилия: мы заимствовали, но как бы нехотя, применяя все к нашему и новое соединяя со старым».*

В последних строках уже скрывается осуждение царствований Петра I и Екатерины II. На самом деле, к деятельности Петра Карамзин относится довольно скептически: очевидно, что к этому времени он успел совершенно отделаться от юношеского энтузиазма, который возбуждала в нем когда-то могучая личность Преобразователя.

«Страсть к новым для нас обычаям, – говорит он, – переступила в нем границу благоразумия: Петр не хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное могущество государства, которое подобно физическому нужно для их твердости. Государь России унижал россиян в собственном их сердце. Презрение к самому себе располагает ли человека и гражданина к великим делам? Предписывать уставы обычаям есть насилие беззаконное и для самодержавного Монарха… Честью и достоинством россиян сделалось *подражание»*…

Все эти изречения являются несомненно во вкусе будущих славянофилов.

Второе вредное действие Петра, – продолжает Карамзин, – заключалось *«в отделении высшего сословия* от низшего». Но чем? Оказывается, не крепостным правом, впервые оформленным при Петре, а *одеждою и наружностью.* «Русские земледельцы, – пишет историограф, – мещане, купцы увидели немцев в русских дворянах, ко вреду братского единодушия (которого, кстати сказать, никогда не было) государственных состояний».

Третье – «ослабление связей родственных, приобретение добродетелей человеческих насчет гражданских. Имеет ли для нас имя русского ту силу неисповедимую, какую оно имело прежде?»

Наконец, блестящею ошибкою Петра Карамзин называет основание столицы в Петербурге.

Не пощадил историограф и Екатерины II.

«Блестящее царствование Екатерины, – пишет он, – представляет взору наблюдателя и некоторые пятна. Нравы более развратились в палатах и хижинах: там от примеров двора любострастного, – здесь от выгодного для казны умножения питейных домов. Пример Анны и Елизаветы извиняет ли Екатерину? Богатства государственные принадлежат ли тому, кто имеет единственно лицо красивое? Слабость тайная есть только слабость; явная – порок, ибо соблазняет других. Само достоинство Государя терпит, когда он нарушает устав благонравия; как люди ни развратны, но внутренне не могут уважать развратных. Требуется ли доказательств, что искреннее почтение к добродетелям Монарха утверждает власть его? Горестно, но должно признаться, что, хваля усердно Екатерину за превосходные качества души, невольно вспоминаем ее слабости и краснеем за человечество».

«Заметив еще, что правосудие не цвело в сие время; вельможа, чувствуя несправедливость свою в тяжбе с дворянином, переносил дело в кабинет; там засыпало оно и не пробуждалось».

«В самих государственных учреждениях Екатерины видим более блеска, нежели основательности: избиралось не лучшее по состоянию вещей, но красивейшее по формам. Таково было новое учреждение губернии, изящное на бумаге, но худо примененное к обстоятельствам России. Солон говорил: „мои законы не совершенные, но лучшие для Афинян“. Екатерина хотела умозрительного совершенства в законах, не думая о легчайшем, полезнейшем действии оных; дала нам суды, не образовав судей, дала правила без средств исполнения. Многие вредные следствия Петровой системы также яснее открылись при сей Государыне: чужеземцы овладели у нас воспитанием; двор забыл язык русский; от излишних успехов европейской роскоши дворянство задолжало; дела бесчестные, внушаемые корыстолюбием, для удовлетворения прихотям, стали обыкновеннее; сыновья бояр наших рассыпались по чужим землям тратить деньги и время для приобретения французской или английской наружности. У нас были академии, высшие училища, народные школы, умные министры, приятные светские люди, герои, прекрасное войско, знаменитый флот и великая Монархиня; не было хорошего воспитания, твердых правил и нравственности в гражданской жизни. Любимец вельможи, рожденный бедным, не стыдился жить пышно. Вельможа не стыдился быть развратным. Торговали правдою и чинами. Екатерина – великий муж в главных собраниях государственных – являлась женщиною в подробностях Монаршей деятельности, дремала на розах, была обманываема или себя обманывала; не видела или не хотела видеть многих

злоупотреблений, считая их, может быть, неизбежными и довольствуясь общим успешным, славным течением ее царствования».

После этой поистине смелой характеристики Карамзин обращается к царствованию Александра I и, по обычаю всех охранителей, начинает прежде всего пугать.

Россия, говорит он, наполнена недовольными; жалуются в палатах и хижинах, не имеют ни доверенности, ни усердия к правлению, строго осуждают его цели и меры. Такое состояние умов Карамзин объясняет, между прочим, и важными ошибками правительства, ибо, к сожалению, можно с добрым намерением ошибаться в средствах добра. Важные же ошибки следующие:

> «…Главная ошибка законодателей сего царствования состоит в излишнем *уважении форм государственной* деятельности: от того изобретение разных Министерств, учреждение Совета и проч.»
>
> Карамзин не хочет ни знать, ни понять, что если реформы Сперанского остались чисто бумажными, недоделанными, то виноват в этом совсем не реформаторский принцип, а двойственность политики Александра I, который горячо желал всего лучшего и боялся сделать решительный шаг. В то время как Карамзин писал свою «Записку», участь Сперанского, а значит и всех преобразований, была уже решена. Мрачная фигура Аракчеева все чаще стала показываться во дворце Александра I. Государя пугали со всех сторон, пугал и Карамзин.
>
> Он зло смеется над министерствами, советами, вообще формами государственной жизни, установлением которых Сперанский думал уничтожить возможность всякого произвола, но что сам может он предложить взамен? Сначала – нравоучение, потом и нечто более серьезное.
>
> Нравоучение таково: «спасительными уставами бывают единственно те, коих давно желают лучшие умы в государстве и которые, так сказать, предчувствуются народом, будучи ближайшим целебным средством на известное зло: учреждение министерств и совета имело для всех действие внезапности».
>
> Более серьезное соображение изложено в следующих строках: «Но да будет, – восклицает Карамзин, – правило: *искать людей!* Кто имеет доверенность Государя, да замечает их вдали для самых первых мест.

Не только в республиках, но и в монархиях кандидаты должны быть назначены единственно по способностям. Всемогущая рука Единовластителя одного ведет, другого мечет на высоту; медленная постепенность есть закон для. множества, а не для всех. Кто имеет ум министра, не должен поседеть в столоначальниках или в секретарях. Чины унижаются не скорым их приобретением, но глупостию или бесчестием сановников; возбуждается зависть, но скоро умолкает перед лицом достойного. Вы не образуете полезного министерства сочинением наказа; тогда образуете, когда приготовите хороших министров. Совет рассматривает их предложения; но уверены ли вы в мудрости его членов? Общая мудрость рождается только от частной. Одним словом, теперь всего нужнее люди! Но люди не только для министерства или сената, но и в особенности для мест губернаторских. Россия состоит не из Петербурга и не из Москвы, а из 50 или более частей, называемых губерний: если там пойдут дела как должно, то министры и совет могут отдыхать на лаврах, *а дела пойдут как должно, если вы найдете в России 50 мужей умных, добросовестных, которые ревностно станут блюсти вверенное каждому из них благо полумиллиона россиян,* обуздают хищное корыстолюбие нижних чиновников и господ жестоких, восстановят правосудие, успокоят земледельцев, ободрят купечество и промышленность, сохранят пользу казны и народа. Если губернаторы не умеют или не хотят делать того, виною худое избрание лиц; если не имеют способа – виною худое образование губернских властей».

Дела пойдут как должно, если вы найдете в России 50 мужей умных и добросовестных, и эти-то 50 людей, их деятельность представлялась Карамзину панацеей от всех зол. Они должны были искоренить вековое хищничество, неправду в судах, жестокие, кровожадные нравы в поместьях. Дайте 50 человек, и довольство воцарится в палатах и хижинах, промышленность и торговля расцветут, казна окажется богатой и неприкосновенной.

Однако всякий, кто подумает, что Карамзин был особенно встревожен учреждением министерств и совета, тот сильно ошибется. Суть не в этом, а в другом, более существенном, и это другое, более существенное – желание сохранить во всей незыблемости и неприкосновенности крепостное право.

«Так нынешнее правительство, – пишет Карамзин, – имело,

как уверяют, намерение дать свободу господским людям». Возможно ли это? По мнению историографа, «освобождение крестьян с землею было бы прямым *беззаконием,* так как: 1) нынешние господские крестьяне *никогда* не были владельцами, т. е. не имели собственной земли, которая есть законная неотъемлемая собственность дворян; 2) крестьяне холопского происхождения – также законная собственность дворянская и не могут быть освобождены лично без особенного удовлетворения помещика». Карамзин думает далее, что одни вольные, Годуновым укрепленные за господами, земледельцы могут, по справедливости, требовать прежней свободы, которой, однако, им давать не следует, ибо «мы не знаем ныне, которые из них происходят от холопей и которые от вольных людей».

Словом, куда ни кинь, все клин. Возможность разрубить гордиев узел крепостного права представляется Карамзину не только невероятной, но прямо ненужной. Он не спрашивает себя, на каких условиях дореформенное дворянство владело государственными землями, особенно в XVII и 1-й половине XVIII веков, когда оно являлось в сущности не собственником, а пользователем; не спрашивает себя и о том, как это возможно, чтобы *все* крестьяне *никогда* не являлись собственниками? Высказав свои исторические аргументы и ничем не доказав их, Карамзин переходит к аргументам нравственно-политическим, и что-то близкое, знакомое слышится в его словах: «Уже не завися от суда помещиков, *решительного,* безденежного, крестьяне начнут ссориться между собою и судить в городе – какое разорение! Освобожденные от надзора господ, имевших собственную земскую исправу или полицию, гораздо деятельнейшую всех земских судов, станут пьянствовать, злодействовать, – какая богатая жатва для кабаков и мздоимных исправников, но как худо для нравов и государственной безопасности».

Припоминая изречение Павла I: «у меня сто тысяч даровых полицимейстеров» (помещиков), Карамзин продолжает: «теперь дворяне, рассеянные по всему государству, содействуют монарху в хранении тишины и благоустройства: отними у них сию власть блюстительную, он, как Атлас, возьмет себе Россию на рамена. Удержит ли?.. *Падение страшно».*

Историограф грозит даже этим, забывая свои собственные блестящие страницы о кротости и смиренномудрии славян.

«Записка», разумеется, заканчивается панегириком дворянству и в этом отношении является характерным памятником александровской эпохи, когда самые заскорузлые старообрядческие мнения переплетались с любезными

меланхолическими порывами сердца и вожделениями европействующих реформаторов, когда предшественники декабристов – Сперанский и Аракчеев – по очереди разделяли симпатии государя.

«Самодержавие, – пишет Карамзин, – есть палладиум России: целость его необходима для ее счастия; из сего не следует, чтобы государь – единственный источник власти – имел причины унижать дворянство, столь же древнее, как и Россия. Оно было всегда не что иное, как братство знаменитых слуг великокняжеских или царских».

Говорят, император остался недоволен «Запиской» и ее реакционным направлением. В то время в душе Александра совершался переворот, и он мучился, находясь на распутье между дорогой Сперанского и Аракчеева. Он успел уже разочароваться во многих из гуманных и свободолюбивых грез своей юности, но ему не хотелось сразу переходить на другой тон.

«Записка» Карамзина задела живую рану.

Скажем теперь несколько слов о последних годах жизни прославленного историографа.

После выхода в свет первых томов «Истории» он жил главным образом в Петербурге, а летом – в Царском Селе. Его отношения ко двору становились все ближе, но он не порывал и своих литературных связей; возле него, между прочим, постоянно находились Пушкин и Жуковский. Впечатления его с этих пор становятся очень однообразными, а в письмах своих он почти исключительно сообщает о тех или других знаках милостивого внимания.

Например, он писал к *Дмитриеву:* «Государь призывал меня к себе и говорил со мною весьма милостиво о вещах обыкновенных. Увидев меня на бале в Павловске в Розовом павильоне, тотчас подошел спросить о здоровье жены и на другой день прислал лакея своего спросить о том же. Это милостиво и тронуло меня. Императрица также приветлива. Однако ж все еще не знаю, останусь ли печатать здесь „Историю“. Типографщики дорожатся, или не имеют нужного для такого печатания шрифта. Будет, чему быть надобно; а пора мне где-нибудь основаться до конца и работать постоянно, без всяких развлечений». И т. д., все в том же роде.

В 1819 году он принялся за IX том «Истории». Опять пошли хлопоты о разыскивании материала, – о том, как доставать нужные книги. Любимая работа вступила в свои права и вновь подчинила себе жизнь и помыслы человека. Несомненно, что за письменным столом Карамзин провел много счастливых часов. Близость ко двору скорее льстила его тщеславию, чем приносила

нравственное удовольствие. Он чувствовал себя не совсем уютно в парадных комнатах. Ему недоставало остроумия, находчивости, он всегда держал себя слишком серьезно. К тому же, по его впечатлительности, каждый знак невнимания или временной холодности раздражал и мучил его. В такие минуты он писал, например, Дмитриеву:

> «Знай, любезнейший, что я ничего не хочу, уже приближаясь к старости. Полно! Благодарю Бога за то, что имею. Надобно доживать дни с семейством, с другом и с книгами. Мне гадки лакеи и низкие честолюбцы, и низкие корыстолюбцы. Двор не возвысит меня. Люблю только любить Государя. К нему не лезу и не ползу. Не требую ни конституции, ни представителей, но по чувствам останусь республиканцем, и притом верным подданным Царя Русского: вот противоречие, но только мнимое».

Карамзин жил довольно открыто. По вечерам в его роскошной квартире собиралось обыкновенно немало народа. Жена и дочь постоянно присутствовали тут же. Впоследствии вдова историографа имела литературно-аристократический салон – что редко встречается в России.

В 1819 году государь по возвращении своем из-за границы заявил Карамзину в интимной беседе свое желание восстановить Польшу в ее древних пределах. Карамзин, по словам Погодина, воспламенился духом и составил «Записку», где между прочим читаем:

> «Можете ли с мирною совестию отнять у нас Белоруссию, Литву, Волынию, Подолию, утвержденную собственность России еще до Вашего царствования? Не клянутся ли Государи блюсти целость своих держав? Сии земли уже были *Россией,* когда Митрополит Платон вручал Вам венец Мономаха, Петра и Екатерины, которую Вы сами назвали *Великою.* Скажут ли, что она беззаконно разделила Польшу? Но Вы поступили бы еще беззаконнее, если бы вздумали загладить Ее несправедливость разделом самой России. Мы взяли Польшу мечом: вот наше право, коему все Государства обязаны бытием своим: ибо все составлены из завоеваний».

Катков впоследствии прибегал к тем же аргументам.

До 1825 года были написаны еще X и XI тома «Истории» в той

же обстановке и при тех же условиях. Упадка сил он не чувствовал. Напротив, последние его письма дышат бодростью.

«Любезный друг, – пишет он, например, Дмитриеву в сентябре 1825 года, – в ответ на милое письмо твое скажу, что о вкусах, по старому латинскому выражению, не спорят. Я точно наслаждаюсь тихою, уединенною жизнью, когда здоров и не имею душевной тревоги. Все часы дня заняты приятным образом: в девять утра гуляю по сухим и в ненастье Дорогам вокруг прекрасного, нетуманного озера, славимого и в „Conversations d'Emilie“ (сочинение Жанлис); в одиннадцатом завтракаю с семейством и работаю с удовольствием до двух, еще находя в себе душу и воображение (Карамзин сохранил их до последней минуты); в два часа на коне, несмотря ни на дождь, ни на снег, трясусь, качаюсь – и весел; возвращаюсь, с аппетитом обедаю с моими любезными, дремлю в креслах и в темноте вечерней еще хожу час по саду, смотрю вдали на огни домов, слушаю колокольчик скачущих по большой дороге и нередко крик совы; возвратясь свежим, читаю газеты, журналы… книгу; в девять часов пьем чай за круглым столом и с девяти до половины двенадцатого читаем с женою, с двумя девицами (дочерьми) замечательные места из Вальтер Скоттова романа, но с невинною пищею для воображения и сердца, всегда жалея, что вечера коротки…»

«Работа сделалась для меня опять сладка: знаешь ли, что я со слезами чувствую признательность к небу за свое историческое дело! Знаю, что и как пишу; в своем таком восторге не думаю ни о современниках, ни о потомстве; я независим и наслаждаюсь только своим трудом, любовью к отечеству и человечеству. Ну, пусть никто не читает моей „Истории“: она есть, и довольно для меня… За неимением читателей могу читать себе и бормотать сердцу, *где* и *что* хорошо. Мне остается просить Бога единственно о здоровье милых и насущном хлебе, до той минуты, «как лебедь на водах Меандра, пропев, умолкнет навсегда…»

Но дни Карамзина были уже сочтены: он умер 22 мая 1826 года, собираясь ехать за границу для поправления здоровья. Перед смертью он получил от императора Николая Павловича именной рескрипт и 50 тысяч рублей пенсии в год, чем и заключалась его успешная историографическая карьера.

Заключение

Мы видели, что сделал Карамзин. Он преобразовал русский язык, выкинув из него массу церковных, славянских выражений и приблизив стиль к французскому, – он издавал три журнала, одинаково умных, интересных и разнообразных, чем, несомненно, приохотил публику к чтению, – наконец он написал двенадцать томов русской истории, не забытых еще и в настоящее время. Всего этого совершенно достаточно, чтобы имя Карамзина не исчезло из летописей русской журналистики, литературы, истории; но этого мало, чтобы мы чувствовали его близким к нам, чтобы мы продолжали учиться у него, как могли это делать наши прадеды и прабабушки. Если порою мы и должны еще обращаться к «Истории государства Российского», то повинно в этом обстоятельстве не величие Карамзина, а в высшей степени медлительный ход русской истории, имеющий, впрочем, очень мало общего с научной осторожностью. Возьмите редкий пример в этом отношении – именно вопрос о крепостном праве. Казалось бы, интерес исследователей должен был с особенной силой притягиваться к нему, а между тем долгое время он почти не обращал на себя внимания. Мы сравнительно недавно расстались со старой сказкой, будто крепостное право введено Годуновым, и наши дети под 1594 год все еще учат наизусть – «вот тебе бабушка и Юрьев день». А между тем крепостное право под формой кабалы существовало с древнейших времен, общее же свое распространение получило лишь при Петре Великом, когда помещик стал отвечать за крестьянские оброки и в вознаграждение за это получил массу прав.

Не только в «Истории государства Российского», но и во всем, что вышло из-под пера Карамзина, нельзя видеть и тени величия. Перед нами всегда и везде богато одаренная, нервная и даровитая, но неглубокая натура, блестящая и красивая, но без тени гениальности. В жизни Карамзин был тем, что называется нормальным человеком. В юности он увлекался масонами и свободными «швейцарами», стал осторожен в зрелые годы, выказывал сильную наклонность давать задний ход под старость. С годами его взгляды становились все более консервативными, охранительными и лишь в минуты меланхолии мог он называть себя республиканцем. Знаменитая впоследствии славянофильская триада «самодержавие, православие и народность» – была в сущности формулирована уже им, с прибавкой крепостничества и 50 сатрапов в качестве образцов добродетели для 25-ти миллионов людей. Пережив волнения юности, Карамзин сделался

государственником чистой воды. Идея справедливости не особенно уже тревожила его: верность преданиям прошлого, медленное и осторожное движение вперед, внешняя сила и могущество России – вот что особенно занимало его и защите чего служил он своим красноречием. «Мне кажется, – говорит он, например, – что *для твердости* бытия государственного безопаснее *поработить* людей, нежели дать им не вовремя свободу, к которой надобно готовить человека исправлением нравственным». Перед соображением о твердости государственной должно умолкнуть все, даже лучшие порывы сердца, и все усилия сосредоточиться на хранении «государственной тишины и благоустройства». Как у государственника, мы найдем у Карамзина и деление народа на классы – желание сделать из этих классов в значительной степени касты. Почти повторяя слова Ришелье и забывая, что в нашей истории был уже Петр Великий, «разнесший все сословные перегородки», он говорит: «Дворянство есть наследственное… Народ работает, купцы торгуют, дворяне служат, награждаемые отличием и выгодами, уважением и достатком. Надлежало бы *не дворянству быть по чинам, а чинам по дворянству,* т. е. для приобретения некоторых чинов надлежало бы необходимо требовать благородства». В той упорной борьбе, которую постоянно вело столбовое дворянство с личным, начало наследственности с началом личности, дух Петра Великого с духом Семибоярщины и верховников Анны Иоанновны, Карамзин принял сторону того, что уже было приговорено историей за сто лет до его времени. Умные люди, не зная его «Записки», которая, кстати сказать, долгое время считалась запретным плодом, поняли, однако, что скрывается за трескучими периодами его «Истории».

Надо, однако, заметить, что не холопство, не трусость привели Карамзина на путь государственника. Он, несомненно, был искренним человеком; ни одной измены, предательства, забегания не лежит у него на душе. Всегда, напротив того, держал он себя гордо, независимо и самостоятельно. Но нравственная закваска его была слаба, он не знал особенного уважения к человеческому достоинству, но только стремился к справедливости. Его легкий блестящий ум легко решал самые трудные вопросы и брал поэтому ближайшее решение. А на это ближайшее решение всегда наталкивается простая формула: «мне хорошо, следовательно хорошо и вообще».

Государственник, а во многих случаях даже реакционер, Карамзин, однако, был далек от мракобесия. Надо отдать ему справедливость: он высказал Александру I много горьких истин.

Говоря, что к свободе надо приготовить человека просвещением, он спрашивал: «а система наших винных откупов и страшные успехи пьянства – служат ли к тому спасительным приготовлением?» Это зло и метко. Он также рекомендовал «обуздывать господ жестоких», хотя и советовал делать это без шума, «под рукой». Он восставал против все возрастающей армии чиновничества, говоря: «здесь три генерала берегут туфли Петра Великого; там один человек берет из 5-ти мест жалованье; всякому столовые деньги, множество пенсий излишних, дают взаймы без отдачи. А кому? Богатейшим людям!..» И т. д. Не справедливость, а *честность* – вот знамя, которому он не изменял никогда… Хорошо и это.

Нормальный характер с должной дозой увлечения и благоразумия дал ему возможность совершенно счастливо провести свою долгую жизнь, наслаждаясь любимым трудом, семьей, дружбой, почестями – всем в меру и в свое время. Замечательно, что за 60 лет он не сделал ни одного неосторожного шага, и нужны были лишь русские традиции, чтобы на него писали доносы. К счастью для себя, ко двору он попал поздно, почему придворная жизнь не могла особенно волновать, а ее неудачи – мучить его.

В его даровании не было полных данных для ученого – в настоящее время, например, при повышенных требованиях, никогда бы такой репутации он не приобрел, – но всем, что нужно для журналистов, он обладал в изобилии. Легкий, красивый язык, словоохотливость, щедрая, всегда находившаяся в полном его распоряжении фантазия позволяли ему писать много и всегда сносно. Было у него и достаточно самоуверенности. Он брался за самые разнообразные сюжеты, перепробовал все роды творчества, ни разу не создал ничего вечного и ни разу из рук вон плохого. Он начал с переводов, долго писал стихи, чтение Мармонтеля натолкнуло его на создание повестей. За «Историю» он принялся без всякой специальной подготовки и лишь с обильным запасом красивых афоризмов.

В наших обстоятельствах такие люди нужны, и лучшим доказательством той пользы, которую они приносят, служит то, что имя Карамзина не умерло и по сей день.

Источники и пособия

1. *Н. М. Карамзин.* Сочинения.
2. *М. Погодин.* Н. М. Карамзин.
3. *Н. Старчевский.* Н. М. Карамзин.
4. Статьи *С. М. Соловьева* в «Отечественных записках» за 1853 г.
5. Статьи *Н. Милюкова* в «Русской мысли» за 1893—94 гг.
6. «Воспоминания» *Вигеля.*
7. Талахов. История литературы.

notes

Примечания

1

не идти

2

«Физическая, духовная, гражданская и политическая история старой и новой России» (фр.)